

Алексей БАКУЛИН

г. Санкт-Петербург



**Сказка о том, что произошло на исходе Великой Смуты  
в феврале-марте 1611 года в одной из русских деревень**

Сильвестр Афанасьевич соображал так, что до утра ему уже не дотянуть ни в коем случае. Нет, сударь, не получится. До села Собачьего, как сказали в селе Черный Двор, не меньше десяти верст, а ноги-то уже не живые, а к лицу-то словно рогожа прилипла, а борода в сосульку ушла, в животе один февральский мороз... «Иди, — сказали ему жители села Черный Двор, — иди, человеке, ступай! Тебе что здесь помирать, что в лесу — одна корысть, а нам не надо, чтобы покойник на улице валялся, и без того печально живем». И Сильвестр Афанасьевич пошел через лес в село Собачье, десять верст по сугробам. Вышел — ещё день белый стоял, версты две прополз, тут глядь: уже и тьма. «Ну что ж, — думал себе Сильвестр Афанасьевич, — главное, что волков почему-то нет. Не надо бы волков-то. Замерзнуть всё равно придется, а волки мне зачем?» Он шел, проползал сквозь сугробы, по-змеиному пересекал поляны, взмахивая руками и воображая, что плывет через озеро. Шапка его примерзла к голове и вместе с волосами и бородой образовала некое ледяное обрамление черному рас-

пухшему лицу, с на сторону скошенным синим носом и отвисшими губами. «Живу ещё, — соображал Сильвестр Афанасьевич. — Сколько жизни-то в человеке!.. Раньше бы и не поверил, что такое возможно, а теперь вот — ничего. Два дня не евши, весь обмороженный, — ползу, сударь, ползу! Еще поди-ка и до Собачьего доползу. А в Собачьем мне скажут: ползи, барин, дальше! И дорогу укажут — люди-то всё добрые... А мне, признаться, и не надо села этого, Собачьего. Устал я от людей, не хочу их видеть, хочу тут замерзнуть, в лесу». — «Но тогда, — рассуждал он дальше, — тогда, сударь, зачем ты ногами-то дёргаешь? Зачем руками загребаешь? Ляг тут, под ёлочкой, свернись клубочком и ку-ку! Тихо, мирно, хорошо. Нет же — ползёт и ползёт! Вот сейчас до этой ели доползу и там остановлюсь». Но не останавливался он, а полз дальше и сам удивлялся своим отмороженным конечностям, которые никак не хотели уgomониться, не хотели закаменеть, покрыться инеем, а несли куда-то Сильвестрово туловище, хотя вовсе не могли знать, ждёт ли их спасение там, куда они так то-

ропятся. Сильвестр и по сторонам не глядел, а влачился лицом по снегу, думая о чем-то своём, далёком, во всём полагаясь на упорные свои руки и ноги. Время от времени посещала его мысль о волках, и представлялось ему тогда, что вот ходят волки вокруг и дивятся: ползет какой-то — не то улитка, не то жук, странное что-то, — зачем его есть, оно, может, несъедобное, отравишься ещё! И смеялся Сильвестр таким мыслям, тихо, уютно смеялся и не замечал того, что руки и ноги его, несмотря на всё своё упорство, начали сдавать, что они уже не двигают тело, а только бьют по снегу, как рыбы плавники о днище рыбацкой лодки. Сильвестру же, напротив, казалось, что именно теперь-то он развил скорость поистине удивительную, что летит он сквозь лес, словно шука сквозь водоросли, и уже скоро достигнет села Собачьего...

— Вот так! — сказал мужик Пахом, бросая на пол с плеч что-то большое, тяжкое, — верно тушу убитого зверя. Пахом был охотником. Только вот что за зверь — непонятно. Для медведя мал, для волка велик.

— Кого убил-то? — спросила с печки бабка Манешка. — И чего ко мне притащил? У тебя своего дома нет, что ли? Что за подарки такие?

— Я, бабушка, потому к тебе завернул, — охотно пояснил Пахом, — что ты одна сейчас не спишь. Это — раз. А два — это то, что тебе его выходить сподручнее будет, чем мне. Я лечить не умею и дома сижу мало, а над ним теперь нужно безотходно сидеть и день, и два, и всю седмицу. У меня он точно помрет, а у тебя все-таки, может, и ничего. А вот ещё: живёшь ты не в своей избушке, а в поповском доме: тут попросторнее и посветлее и есть, где его, болезного, положить.

— Человек, — сказала бабка без удивления. — Человека притащил. А что это за человек, ты знаешь? Поляк? Казак? Татарин? Я его выхожу, а он с нас со всех головы снимает. Один уж есть такой.

— Ну, я уж не знаю. Ты его полечи, а там видно будет.

— А я тебе кто — знахарка? Я в жизни не лечила никого. С чего ты взял, что он у меня поправится?

— Ну, — сказал Пахом, — я не знаю тогда. К кому я его поташу? Спят все. Ладно, возьму к себе.

— Куда — к себе?! — рассердилась Манешка. — К себе он понесет! Оставь, не трожь! Где нашёл-то? Он что — раненый?

— Да нет — замороженный! Деревянный весь, как пень. Я его возле Чёрного Двора нашел. Вокруг деревни ползал, по лесу, а в деревню боялся чего-то зайти. Поползал-поползал да и замёрз. Я у сестры гостил в Чёрном Дворе, а как обратно-то пошёл, так на него и наткнулся.

— Чего это ты по ночам из деревни в деревню гуляешь?

— Так выгнали. Шурин-то с отцом со своим и выгнали меня. В Чёрном Дворе мужики-то, знаешь, сердитые. Туда без нужды-то и не пойдёшь, а и пойдёшь, так жди, что обратно кольями погонят. Вот и этого, болезного, тоже, небось, напугали. Я следы его видел: вокруг деревни ползает-ползает, а в деревню-то боится заглянуть.

— В Чёрном Дворе кого хочешь напугают! — согласилась бабка Манешка. — А он живой ли?

— Живой! — уверенно кивнул Пахом. — Это я понимаю. Он сейчас отгает немного, а потом его жиром медвежьим растереть, да с мёдом — и задышит. Но, конечно, потом, может, и помрет от простуды. Это уж как Бог даст.

— Да ничего, выходим, — махнула бабка рукой. — Как-нибудь не дадим помереть.

— Тебе и Нюра поможет, — заметил Пахом. — Как она, Нюра-то, — сможет помочь? Хватит соображения?

— Не знаю... — нахмурилась бабка. — Вишь, судьба моя какая — что гость в деревню, то ко мне. Дом, вишь, поповский, просторный... И монах этот сейчас у меня живет, и Нюрочка с Агашенькой ко мне пришли. Идолище это, атаман — тоже ведь у меня...

— И ещё один гость будет! — рассмеялся Пахом и, решив, что достойно завершил разговор, развернулся и вышел из избы. Старуха полезла с печки, чтобы поближе рассмотреть своего нового постояльца. Маленькая и круглая, похожая на позднее, подмороженное яблочко, склонилась она над недвижным телом и, сгорбась, стала ещё круглее.

— Мёртвый, — решила Манешка, осмотрев синее лицо незваного гостя. — Нет, живой. Нет, мёртвый, это точно. Не дышит. Помер, болезный...

И решив, что гость её точно помер, бабка при-

нялась ножом сдирать с покойника зазеленелый тулуп, словно шкуру с медвежьей туши...

...Долго ли, коротко ли летал Сильвестр Афанасьевич в сумрачных пространствах бреда, но однажды ежовы рукавицы болезни, ощущаемые и в самом глухом беспомоществе, отпустили, и он, радуясь сердцем, что остался в живых, раскрыл глаза и посмотрел на божий мир.

Лежал он на полатах, на тощей перинке, под тремя пахучими шубами, лежал, вытянувшись во весь свой невеликий рост, и потихоньку озирался вокруг.

И светло же было в новенькой избе, в чистой горнице, в сосновых её стенах! Сильвестр Афанасьевич медленно водил глазами туда-сюда — от божницы до двери, от окошка до стола... За столом он увидел молоденького монашка в помятой скуфейке, с золотой бородкой, с вьющимися усами, над которыми задорно торчал немалых размеров картошканос. Монах чинно попивал дымящийся кипяток из большой глиняной кружки, а маленькой деревянной ложкой вычерпывал что-то из расписного горшочка, — потом выяснилось, что это он лакомился черникой, сваренной на меду. Медленно опускал монашек ложку в горшочек, поддевал толику вареньица, медленно нёс к разинутому буквой О рту, потом плотно смыкал на ложке губы и с некоторым усилием вытаскивал её обратно, словно соску отнимал у младенца; затем следовал обжигающий глоток кипяточку, — так горячо, что монашек морщился, качал головой, с бульканьем сглатывал, шумно отдувался — «Пффуу!!» — и вновь лез ложкой в горшочек...

Так насмешил Сильвестра Афанасьевича этот монашек, что он хихикнул, но только хихиканье у него вышло жалкое, похожее на всхлип. Оно монашка сильно напугало почему-то.

— Бабка! — завопил монах, давясь кипятком. — Бабка! Сюда беги! Скорее! Кончается человек-то! Уж захрипел!

Бабка Манешка выглянула из-за дверей.

— Ну, так ты и займись им, человек божий! Я его две недели выхаживала как могла, а теперь уж твоя очередь. Мертвецы — твоя печаль, не моя.

— Не пугайтесь, люди добрые! — хотел ска-

зать Сильвестр Афанасьевич. — Я не умираю, я, напротив, выздоровел и сейчас поднимаюсь на ноги.

Но губы его шлёпали, горло сипело, а язык и не думал ворочаться.

— Ох, Господи, — покачала головой Манешка, — как его задёргало-то!.. И вправду конец пришёл болезнью! Эх, бородатенький... И прозвания-то твоего не ведаем...

Монашек заметался по комнате: «Где ж тут книги-то мои? Где ж крест, где ладан? Он, поди, ещё исповедоваться сможет...» И тогда Сильвестр с грустью подумал, что, может быть, они и правы, может, это ему только кажется, что он выздоровел...

И вдруг сразу вспомнилось ему, почему он здесь, и как он полз по непролазной заснеженной дороге, и зачем он полз, и откуда, и что радоваться собственному выздоровлению — это с его стороны малодушие. И сразу радость отошла, и горькое равнодушие — мирное, привычное, безнадрывное — окутало его сердце.

— Да не бегай ты, — неожиданно ясно сказал он монашку, — живой я. Я ещё всех вас тут переживу, пропади оно пропадом.

И поднялся, и сел, но тут голова его качнулась, и вновь окружило его душу тёмное беспомощество. Потом привиделось ему, что люди из Замоскворечья бегут в Кремль стройными рядами, крича дружно: «Поляков бей! Поляков бей!» — а он между ними, бегущими, сидит на земле и говорит: «Нет, братцы, не выйдет у вас ничего! Поскольку царя на Москве нет, вам не победить, а царя на Москве не будет, пока вы не победите. Хитро сказал, да? Так-то! Распутай загадку, кто сможет!» Бегущие остановились, желая послушать, что это он такое говорит, и он поднял палец, готовясь сказать что-то важное, но горло его захрипело, и он понял, что сказать-то ему в сущности нечего. Замоскворецкие жители почтительно ждали, а он сидел с поднятым пальцем, шлёпал губами и молча ужасался: «Нечего сказать! Нечего сказать!» Они махнули руками и начали расходиться, а он всё сидел и сидел неподвижно и всё повторял про себя: «То-то, подьячий! Нечего сказать тебе!» И заплакал Сильвестр Афанасьевич от горечи и бессилия и от плача своего вновь очнулся.

Над ним склонились трое: бабка Манешка, монашек и белобрысая девица в красивом дорогом платке, накинутом на плечи.

— Сказать-то мне им нечего! — отчаянно выкрикнул Сильвестр Афанасьевич. — Слышь, отче, беда-то какая!

— А чего тебе говорить? — растерянный монашек облизал губы. — Ты, брате, лежи себе, поправляйся. А говорить, допустим, тебе вовсе и ни к чему.

Белобрысая девица как-то странно улыбнулась и сказала: «Ну, красавчик какой!» — чем весьма всполошила старуху.

— Иди, Нюрочка, иди, родненькая! — затараторила она. — Нечего тебе тут делать, иди платьице своё дошей, платьице-то красивое какое начала шить, иди, иди, не мешай нам! — и вытолкала девицу прочь.

— А мы с ним поженимся! — сказала девица, уходя.

— Ты, батюшка, её не слушай, — смущённо пояснила старуха Сильвестру, — она у нас головкой плоха. Как злодей-то её сестрицу зарубил — да прямо у неё на глазах, — так она с тех пор и повредилась. Сперва совсем ничего не понимала, потом начала отходить понемножку.

— Заговорила впервые! — заметил монах.

— Правда ведь! — обрадовалась старуха. — Я и не заметила! Четыре месяца от неё словечка не слышали, а тут вот заговорила!

Сильвестр не понимал, кто заговорил, кто кого зарубил, кто повредился в уме, и это его слегка раздражало.

— Ты кто, бабка? — спросил он старуху.

— А я, батюшка, выходила тебя, — пояснила Манешка с достоинством, — сколько ночей не спала, сколько трав на тебя извела, — лишь бы выводить боярина!

— Нет, ты кто? — снова спросил Сильвестр и, подумав, что выходит грубо, добавил: — А вообще-то, спаси ты Христос! Отплатить-то мне нечем, вишь...

— Я здесь живу, — толковывала ему Манешка, — я тутошняя, Манешкой меня кличут, Манефой Тимофеевой, а вот это — гости мои: Черноболотного монастыря послушник Агафон...

— Свято-Григорьевской Черноболотной обители... — уточнил монашек.

— Ага, Свято-Григорьевской, а эта, болез-

ная, — она боярская дочь, Анна Несторовна Красногорская, вот! Мы уж её по-нашему, по-деревенски, Нюрочкой кличем, — опять же, и на головку слабая... Две сестрички их было: Агафья Несторовна, старшая, да Анна Несторовна, младшая, только Агафью Несторовну злодей, вишь, зарубил...

— Какой злодей?

— Да вот, на печке спит, атаман донской, Филька-пьяница... То бишь Филипп Филиппыч — ну его! Он спит всегда, ты его не бойся.

— А ты-то кто, брате? Назовись! — потребовал монашек.

— Московский житель, Сильвестр Афанасьев Руковицын, подьячий государевой службы! Шёл из Москвы прочь, куда глаза глядели, пришёл к тебе, знать на то воля Божия была! — со всей возможной бодростью доложил Сильвестр. — Я, бабка, прощения прошу, что незваным к тебе заполз да и расплатиться не могу. Ты уж не пеняй на грешника. Только, с другой-то стороны, я ведь к тебе в гости и не напрашивался, и леченья твоего не просил, — так-то, сударыня!

— Не просил, да получил, сударь мой, тем и будь доволен! — старуха, видимо, рассердилась таким словам. — Может, оно тебе и любо — в лесу мертвяком лежать да волков собственными потрохами кормить, а только нам-то со стороны на такое смотреть не дюже любо! Мы люди не московские, не знаем, как там у вас заведено, а у нас такой обычай: коли тонет человек, мы его на берег тащим, коли горит, так пламя заливаем, — вот оно как!

И, ворча, пошла она варить зайца, которого добыл для московского гостя мужик Пахом. Брат Агафон уселся возле Сильвестровой постели на табурет и, прихлёбывая разведённое в кипятке варенье, молча созерцал болящего: реденькие его русые усики, измятую бородку, — молод совсем, да худ, да ростом мал, да измочален донельзя и болезнями, и долгими горькими думами.

— Что, брате послушнике, разорили небось твой Заболотный монастырь? — полюбопытствовал Сильвестр.

— Не Заболотный, а Свято-Григорьевский Черноболотный, — хмуро поправил Агафон. — А что разорили, так это точно. Не осталось камня на камне на месте сем. Все иконочки пожгли, все колокола разбили...

— Поляки?

— Казаки. Поляки тож нападали, настоятеля убили и ещё с десятков монахов... Старца Власия заporоли насмерть... Пограбили довольно... А всё ж монастырь остался после их набега. Мы уж и нового настоятеля выбрали — сами, без архиерейского благословения, и что разрушенное — отстроили... Четыре месяца минуло — казачки заявились, родимые!.. Войско православное! Как жив остался, про то одна Госпожа Пречистая знает. Всех порезали-пожгли! Что унести не смогли, то в болоте утопили...

— Да, казаки это могут! Это уж мы насмотрелись! И что ж теперь, брате послушнике? Куда решил двинуть? Не к хохлам ли? Не в Лавру ли Киевскую?

— Не... — выдохнул брат Агафон вместе с облачком кипяточного пара. — Хохлы — все еретики латыньствующие. У них там и монахи-то — что не поляк, то жид неокрещённый... Нет, я дальше пойду!

— А, брате! Знаю, знаю! На Царьград решил идти! Признайся, что так! Не молчи, признайся!

— Не... Какой такой Царьград... посмотрели мы на греков... Не хочу к ним. Опять же, если бы одни греки — тут полбеда, а ведь и греки-то сами под султаном сидят! Что ж мне поляков да шведов мало, — иди разве ещё турку искать на свою голову?

Не зная того, брат Агафон пребольно задел Сильвестрово сердце такими словами.

— Чем это тебе греки не угодили? — нахмурился подьячий. — И где ж ты их повидать успел? У вас, что ли, в Гнилоболотном монастырьке? Так там поди-ка три послушника да над ними игумен сам-четверт: игумен в соху впряжётся, а вы на нём пашете, — тем и живёте!

— Свято-Григорьевский Черноболотный монастырь и вправду небогатым был, — горько покривился Агафон, — случилось, что и пахали друг на друге: по нынешним временам случалась этака штука не только у нас, а и в обителях почище нашей. Да я и раньше повидал в жизни кое-что, прежде чем в Черноболотье попал. Я, брате, из Великого Новограду буду родом, а у нас там и греков, и немцев, и кого-кого только не наглядись — до полной тошноты! И греков этих я повидал!.. У батюшки моего лён торговали.

— Ну, торговали, и что?

— А то, что возьми лису, приклей ей бороду чёрную — вот тебе и грек! Уж такой народ! Слова не скажут, не обмануши. А если и скажут про белое, что это белое, так и тут-то тебя надуют: им, верно, какая-то особая корысть была правду сказать!

— Ну, ты не того, послушнике! — напустился Сильвестр. — Подумаешь, надули его греки, так он по сей день успокоиться не может!.. Греки всё ж православный народ. Они не сегодня завтра султана скинут, и будет опять великое греческое царство! Греки!.. Да на них вся надежда! Они ещё в языческие времена какие дела делали!.. Омира читал? Нет? Ясно, в Трясиной обители таких книг не читают! Вы и Псалтырь-то небось по памяти твердили!

— А ты, сударь, я чаю, в Константиноград путь держишь?

— Не знаю... — вздохнул Сильвестр. — Ты у ног моих спроси: куда они путь держат? Если доведут до Царьграда — значит, в Царьграде осяду. Если в болоте вашем увязнут, значит, там и сгину. Я со своими ногами договоры не договаривал — пусть сами дорогу ищут. А вот ты-то куда идёшь? Если тебе и Царьград не Царьград — куда ж ещё? Не в Индию ли?

— Каку таку Индию... Не, брате... Я лучше придумал. Я к эфиопам пойду.

— Ку-да?! — изумлённый Сильвестр так сильно выкрикнул это «куда», что у него, ещё хворого, даже закружилась голова.

— Что ты кричишь-то? — послушник несколько смутился. — В Белое Эфиопское царство. Там православные люди живут, — ты что, не знал, что ли?

— Это эфиопы-то?! Они ж чёрные!

— Есть чёрные, а за ними ещё другие эфиопы — так те белые и православные. Мне греки-то про них и рассказывали.

— Какие греки? Ты ж только что греков так хаял, что полякам впору такая брань. Они ж врут всегда!

— Ну, как это — всегда... — совсем засмутился брат Агафон. — Не всегда. Часто, но не всегда же. Тоже и правду иногда надо сказать.

— Ну-ну, брате! Ангела тебе в путь-дорожку! Что ж ты тут сидишь, а не в Эфиопском своём царстве?

— А ты чего? Того же и я. Шёл-шёл, когда

обитель-то нашу разорили, шёл-шёл, да и ооченел совсем. Не так, однако, как ты, не до смерти, — да уши, впрочем, чуть не отвалились. Ну, и зазимовал тут, у бабки, у Манешки. Вот май наступит, так и снова в путь. Теперь, однако, вместе пойдём.

— Пойдём, брате!

Очень обрадовался Сильвестр Афанасьевич такому предложению. На пару и с собакой идти легче, не то что с человеком. А этот, кажется, свой: всё понимает и знает, какая сила погнала Сильвестра от родного дома, от любимого московского двора. Тоже какие-то задумки имел: вот о пострижении небось мечтал, о житии постническом, о подвиге молитвенном... Уже подика вторым Сергием Радонежским себя видел, а тут — на тебе! Пинком под зад, монастырь — в тартарары, да ещё и не накланяешься за то, что жив остался. Это очень понятно. От радости Сильвестру Афанасьевичу стало спокойно на душе, а вслед за спокойствием пришла дремота, и хотя брат Агафон ещё что-то говорил, и, судя по движениям губ и бровей, что-то очень важное и интересное, но следить за его речью уже мочи не было. Сильвестр уснул.

Проснулся он, вероятно, на следующий день. Страшно хотелось пить. Он долго ждал, что кто-нибудь поднесёт к его губам жбан квасу, как это бывало все минувшие дни, но на этот раз подобное не совершилось. Тогда, сквозь дурноту и слабость, поднялся он на ноги, постоял, покачался, понял, что идти может, и пошёл. И сразу наткнулся на лавку, где спал кто-то, накрытый поверх тяжёлого тулупа узорчатым красным платком. Сильвестр ткнулся слабой рукой в платок, под тулупом заворочались и тоненько вздохнули. Край платка отогнулся, и Сильвестр увидел давешнюю девушку, боярскую дочь Нюру Красногорскую, слабую на головку. Во сне странное болезненное выражение сошло с её лица, и теперь оно было чистым и безмятежным: брови чуть приподняты, как бы в печали, губы чуть подрагивают, обещая то ли улыбку, то ли всхлип, волосы, чуть темнее цветом кожи лица, несколько растрепались со сна... Сильвестр засмотрелся на спящую: не то, чтобы залюбовался, и не то, чтобы изучал Нюрины черты, а просто, отвыкнув видеть что-либо, кроме бредовых ви-

дений, рад был отдохнуть взглядом на чем-то живом, добром, дышащем...

Тут глухо хлопнула обитая войлоком дверь, и брат Агафон с порога укоризненно закричал:

— Ты чего, брате, на боярышню пялишься! Не трожь! Не трожь! Куда глаза выпучил?

— А я разве трогаю? — удивился Сильвестр, отступая от Нюриной скамьи. — Я ж ничего — я посмотрел только.

— Знаем вас! — сердился Агафон, ставя в угол колун и высыпая перед печкой охапку дров. — Только на ноги поднялся, сейчас к девке попрыгал! Боярышняя почивают после обеда: у них заведено так, — и на ту пору глаза на неё пучить никому не позволительно. — Помолчал и добавил: — А у тебя, к тому же, жена в Москве. И дети малые.

— Какая жена! Ты что, брате?! Кто тебе сказал?

— Нету жены? — недоверчиво покосился послушник. — Что ж ты так? Уж не отрок, мог бы и жениться.

— Так ты ж не посватал мне никого, вот я и хожу бобылём! — усмехнулся Сильвестр. — Не бойся, брате послушнике, мы своё место понимаем, за боярскими дочками не бегаем. А только приятно на хорошее лицо посмотреть, когда из могилы-то выберешься! Мы не в монастырь готовимся, нам немножко можно. А что это — как будто рычит кто-то? У вас собака в доме живёт? Или нет — уж не медведь ли?

С печки кто-то рычал, хрипел, гулко, с подвыванием, охал. Агафон в досаде плюнул:

— Филька просыпается. Надо скорее за бабкой идти.

На печке тяжело заворочались, и вдруг наружу свесилась огромная косматая голова в шапке серых, плотно свалывшихся, клочковатых волос, глянули два диких бессмысленных белых глаза, выпучились две тугие, красно-лиловые щеки, раскрылся вислогубый рот:

— Ба-а-абка!! Браги неси!!!

Манешка уже вбегала в избу, неся горшочек, прикрытый чистой белой тряпочкой:

— Сейчас, сейчас, батюшка Филипп Филиппыч! Не прогневайтесь! Откушайте! На здоровьице!

Толстопалая ручища выхватила у бабки горшочек, опрокинула его в пасть, — что-то булькнуло, дробно бабахнула отрыжка, эхом прокатилась по избе нехорошая брань, пустой

горшочек полетел в стену, Агафон прикрылся рукой от осколков. Потом на пол с печки легко, бесшумно спрыгнул быкоподобный ребенок и босиком побежал на двор.

— Готовь, бабка, добавку! — заметил послушник. — Сегодня одного горшка мало будет.

— У меня уж готово! — Манешка достала откуда-то ещё один горшок, понюхала, мучительно покривилась и прикрыла его белой тряпочкой.

— Я что-то не пойму, — спросил Сильвестр. — Кто же это таков? И почему вы его тут держите? Это же он Нюрину сестру зарубил? Правильно?

— Зарубил, зарубил! — подтвердила Манешка. — Злодей он и разбойник!

— Тогда зачем же ты его здесь держишь?

— А кто ж его выгонит? Мне не под силу, а мужиков у нас в деревне не осталось почти. Один Пахом-охотник да ещё четверо старичков. Остальных всех поляки порубили. И Пахом-то почему спасся? Потому что в лесу на ту пору был. А Филипп-то Филиппыч...

Не успела она договорить, как открылась дверь и сквозь морозные клубы в избу шагнул сам Филипп Филиппыч. Бабка тут же протянула ему горшок с брагой. Атаман принял питье, задумчиво посмотрел на него и пить не стал.

— Опять твою отраву хлебать? — грозно спросил он Манешку. — Что я тебе — ярыга какой? Думаешь, я без зелья жить не могу, да? Сама пей! — и выплеснул зелье старухе в лицо.

Манешка спокойно утерлась подолом и промолчала.

— Видали?! — обратился атаман к Сильвестру и послушнику. — Довела ведь меня! Я человек тихий, не задиристый, но ежели довести меня... Вы, мужики, чьих будете? Вчера вроде вас не было, а? Живёте здесь, что ли? А у меня разрешения спросили? Вы думаете, я — кто? Ярыга московский? Нет! Я, братцы, с вольного Дону атаман! У меня весь Дон разрешения спрашивал — то ли спать ложиться, то ли в поход идти! А тут — что такое? Живёте в моей избе, а меня не спросили наперёд? Или мне поучить вас немного? Я знаю, как народ учу? Одному башку ссеку, второй сразу учёным станет! Вот уж — не расходитесь, щас я сабельку свою выну... Бабка! Саблю давай!

И не глядя он протянул бабке растопыренную ладонь, куда Манешка тотчас вложила новый горшочек с зельем. Атаман удивлённо обозрел

горшочек, чинно, без жадности осушил его и вернул старухе.

— Да, мужики! — сказал он Сильвестру с Агафоном. — Вот ведь как получилось! Не хотел я пить сегодня. Поверите ли, месяца два пью — всё остановиться не могу... Думал, сегодня хоть передохну. Пойду воздухом подышу, посмотрю, что за деревня тут... Что за людишки проживают... Поучу кое-кого уму-разуму... Они тут совсем нюх потеряли: не видят, что донской атаман у них под боком живёт... Думают — поляков нет, значит, им всё можно... Не-ет! Донской атаман Филипп Жеребятников — это вам почище поляка будет! Поляки-то вас ещё милуют, кишка у них тонка против нашего... А вот как я за них возьмусь, так, небось, сразу научатся в землю лбом бить. Дай-ка, бабка, мне сапоги, пойду я погуляю по деревне!

Бабка поднесла ему ещё один горшок. Атаман язвительно усмехнулся в усы, пожал плечами и осушил посудину.

— А теперь ложись, батюшка, поспи немного! — мягко приказала Манешка и развернула атамана лицом к печке. Всё ещё язвительно усмехаясь, атаман полез на своё лежбище.

— Вот так-то, — строго сказала Манешка. — Брага-то кончается у меня. Что было — всё вылизал, только капельки на донышке остались. Спиридон-то Рябой один умел зелье по-настоящему варить, так его поляки зарубили. Он мне и подарил бочонок, а где теперь я буду это пойло брать? Ты, батюшка Сильвестр Афанасьич, не учён ли крепкое вино варить?

Сильвестр сокрушённо покачал головой.

— Потому-то он и Агашу зарубил! — горько пожаловалась Манешка. — Не допил! Не хватило зелья, вот и пошёл порядок наводить по деревне. Тут мы к нему навстречу случились, я, да Агаша, да Нюрочка. Он к нам кабаном диким подскочил: зачем не кланяемся его милости? «Я тебе хоть сто раз поклонюсь, — это я-то говорю. — Я тебе хоть до вечера буду кланяться, а они ведь боярские дочки! Неприлично им пред тобою спину гнуть! И тебе в том почёту мало: знай, псина, свою конуру, а в хозяйский дом не лезь! На всё свой порядок!» — «Нет, — говорит, — это у вас в Москве такой порядок, а у нас на Дону совсем иначе заведено! Ну, ладно, пусть не кланяется — это ничего, — а тогда пусть она ме-

ня по-другому уважит?» — «Это как ещё?» — спрашиваю. «Это так, — отвечает, — как ты и сама знаешь!» — «Ты что, псина толстая, задумал, — я кричу. — Тому не бывать никогда, чтобы боярская-то дочка, да с тобой, кабаном неумытым!» — «А что, — говорит, — ты за неё мне отвечаешь? Я ведь и не с тобой вовсе говорю, больно ты мне нужна! Пускай девица сама скажет. Ей, может, и в охоту к донскому атаману на печь. Я человек не бедный — хоть и боярину другому впору. Так награжу, что до конца жизни хватит. У меня на Дону в могиле столько золота зарыто... Пойдёшь со мной, Агафья Несторовна, всё твоё будет!» Агашенька моя слушает и молчит... Она не очень-то испугалась, да и я тоже не струсил: думали, покричит-покричит да и отстанет. Только Нюрочка совсем с лица спала: побледнела, трясётся, за меня прячется... А как спросил он во второй раз: пойдёшь, мол, ко мне, Агафья Несторовна? — тут Агаша и говорит: «Нет, не пойду, а коли будешь кричать на нас, так и пожалеешь! Смотри, мол, как бы тебе худо не сделалось!» Она, бедненькая, привыкла, что за тятенькой-боярином ей ничего не страшно, вот и не поверила, что Филька ей что-то плохое сделать может. «Погоди, — говорит, — вот приедут с Москвы мои родственники, будешь ты порот посреди деревни!» Ну, тут и не стерпел атаман-то наш. Я и ахнуть не успела! И не заметила даже ничего! Только слышу — сабля вззых! Сверкнуло что-то перед глазами, хрястнуло — и всё! Лежит моя Агашенька... Я только рот раскрыла: что это?! Как это?! А он увидел, что сделал, саблю бросил да и бегом от меня! Я к Нюрочке поворачиваюсь, а Нюрочка сама глаза закатила да рядом с сестрой и повалилась на снег. Её-то откачали, а Агашеньку...

— Ну, ну, бабка, не плачь, — забасил Агафон, — эта смерть хорошая, мученическая! Она свою невинность защищала, не хотела греху поддаться, стало быть, приняла мученический венец! Хотя, если с другой стороны посмотреть... Гордыню свою она показывала: считала себя выше своего палача, возносилась над ним. Это, конечно, неправильно. Ей нужно было смиреннее быть, поласковой с ним говорить: мол, все мы по-своему грешные, и я по грехам своим должную казнь приемлю...

— У Агаши какие грехи? — рассердилась стару-

ха, — девица, всю жизнь у отца с матерью прожила, грехов-то и в глаза не видала!

— Ну, такого, положим, не бывает: грех он везде!.. Она, может быть, мысленно согрешала...

— Погодите, погодите! — прервал их Сильвестр. — Я что-то не понимаю: атаман зарубил боярскую дочь, так? Так. А откуда здесь боярским дочерям-то взяться? Это первый вопрос. А второй — почему же вы этого атамана у себя держите да водкой поите? Почему его самого не зарубили? Вот хоть охотник ваш, Пахом, — разве он не мог?..

— Он-то мог! Он-то и хотел! — быстро затараторила Манешка. — Он говорит: я ж его на рогатину посажу, как медведя! Но мы не дали. Все бабки деревенские собрались и кричим: ой, Пахом Иванович, не замай Филиппа Филиппыча! Не трожь его: поляки набегут, кто нас защищать будет? Ты, что ли? Один? Филипп-то Филиппыч он хоть и злодей, а поляков напугать может! Не трогай его. Ну, Пахом подумал и согласился. И с тех пор живёт Филипп Филиппыч у меня, а вся деревня мне зелье хмельное таскает, чтобы, как он проснётся, так сразу в него влить горшок-другой, — пусть-де не балует, а брагу пьёт да спит. Только кончилась у нас уже брага...

— Так, это понятно. А боярышни откуда?

— А приبلудные. Ехали они с батюшкой своим да со слугами — целый поезд! Да в дороге, у села Чёрный Двор, напали на них разбойники. Всех перебили, а девушки спрятались: на дерево залезли, и там их не нашёл никто. Три дня на дереве сидели, боялись спуститься. Пахом их нашёл и ко мне привёл. А теперь вот — Агашу схоронили, а Нюрочка бедная совсем плоха — сама себя не помнит. А вот и она!

Нюра, никем не замеченная, стояла за спиной у Сильвестра и тихо водила пальцем по его рубахе.

— Ты чего, Нюрочка! — всполошилась бабка Манешка. — Ты чего тут делаешь?

— Мы с ним поженимся! — радостно объявила боярышня, тыча пальцем Сильвестру между лопаток.

— Вот оно как, Сильвестр Афанасьевич! — вздохнула бабка. — Чего ей в голову-то втемяшилось! Ты уж, батюшка, её не обижай! Не трогай! Может, даст Бог, уляжется на Москве смута, так я её свезу туда, — будем её родствен-



ников искать. А то, может, поправится немного... Я чего думаю-то... Сколько народу разного в наше село занесло. Неспроста это. Барина нашего поляки убили... Вот бы тебе, батюшка Сильвестр Афанасьевич, у нас барином сделаться! Женился бы на Нюрочке... Агафон бы у нас попом стал. Наш-то поп сбежал от поляков, не знаем, где и искать его...

— А атаман кем будет? Старостой церковным? — усмехнулся брат Агафон. — Нет, бабка, мы у тебя не задержимся... Вот весна скоро, май, и прощай, село Собачье! Прощай, Русь-матушка! Хватит, помыкались... Гори всё дотла, а нам тоже пожить хочется! Не для того мы на свет родились, чтобы под поляками гнить. Много на свете православных земель, найдём, где пристроиться!

С печки раздавался грохочущий храп атамана; Агафон вспомнил, что ещё не наколот дров, Манешка побежала за Нюрочкой, без шубы выскочившей на улицу, а Сильвестр подумал, что на сегодня с него подвигов хватит, и снова лёг на лавку.

И пошла у них жизнь хорошая. Сильвестр с Агафоном кололи бабке дрова, носили воду, потом как-то раз, поплевавши на руки, взялись и построили баньку на новгородский образчик, а ещё раз ходили на охоту с Пахомом-мужиком и понаташили глухарей, да зайцев, да лису — Нюре на шубку... Без просыпу спал атаман, напиваясь раз в сутки мухоморной настойки, каковую для такого случая изобрёл Пахом. Нюрочка ходила за Сильвестром по пятам, любовалась на него с десяти шагов, заглядывала в глаза, улыбалась хитро и пригравивала пальчиком. Сильвестр её улыбок старательно не замечал, глядел в угол, но не сердился и не смущался, а умилённо усмехался в душе. Очень ему хотелось сказать ей что-нибудь ласковое, но понимал — нельзя, не по Сеньке шапка, и вообще... По вечерам придвигали они с Агафоном лавку поближе к печке, хлебали разведённое в кипятке варенье и беседовали о Русском царстве.

— Я, — говорил послушник, — конечно, не велюсь... Нет, брате, ты не думай. Мне тоже на всё это смотреть мочушки нет. Но я тебе что скажу? Рим пал? Пал. Поцарствовал, пороскошествовал, а потом пал. И Константинград. Царил! Володел! Сверкал! А тоже пал. И Мос-

ковское царство. Сколь прекрасно было! Сколь его царь Феодор Иоаннович вознёс над прочими державами! Сколь благочестием украсил! Но пришёл и наш черёд. И человек — живёт-живёт, да и помрёт, и царства так же. Главное ведь что? Что вера Христова осталась, что Церковь Божия нерушима по слову Господню. А я — монах. Мне где церковь, там и родина. Нет у меня другой родины, кроме кельи, да той, что на Небесах. А Русь... Ну, Царство ей Небесное. Не наша теперь забота о Руси думать.

— Да я бы и подумал о ней, брате послушнике, — морщился Сильвестр. — Я о ней думал, пока голова наизнанку выворачиваться не начала. А сейчас всё! Край! И теперь я так решил: раз конец Руси, так, значит, конец и миру. Вот ты говоришь — Рим, Константинополь... Они хоть поцарствовали всласть! А мы? Всего-то ничего: царь Иван да царь Феодор, а там уж и Бориска-душегуб...

— А Ванька-злыдень чем лучше Бориски? За его лютость и страждем теперь! По его грехам Русь кончается!

Сильвестр поперхнулся.

— Ты, отец, что это возбормотал?! Какой тебе такой Ванька? Великий кесарь православный Иоанн Васильевич — не хочешь?! Да если бы не Иван-то Васильевич!.. Да где тогда и Русь-то твоя была? Да у меня дед в опричниках служил!..

— Нашёл чем хвалиться! Да не твой ли дед моего деда в Новограде казнил? Знаешь, как его казнили? Сказать?

— Как надо, так и казнили. Как бунтовщиков казнят, так и казнили! А дед мой Новгород не усмирал.

— А вот я тебе скажу, как его казнили! И у тебя от рассказа того варенье из ушей польётся! Его, значит, взяли за одну ногу...

Тут Агафон осёкся. Сильвестр посмотрел в направлении его взгляда и рот открыл: рядом с ними смиреннько сидел атаман, скрестивши руки на мощном животе и склонив голову во внимании.

— Говорите, хлопцы, говорите! — мирно подбодрил их атаман. — Я ничего, не помешаю. Мне любопытно вас послушать.

И замолчал в ожидании продолжения.

— Я это... О чём бишь... — закашлялся Агафон.

— А как деда твоего казнили, — напомнил ата-

ман. — Я так понимаю, что его на две половинки раздёрнули? Так, что ли?

— Ну, это... Не совсем...

— Мне такого видеть не приходилось, — деловито нахмурился атаман. — А вот видел я, как поляки пытались конями одного разорвать. Привязали, значит, за ноги к одному коню, за плечи к другому и давай погонять. Они, пся крев, и сами-то ничего подобного прежде не делали, а тут, значит, из любопытства решили... Опыта ради. А кони-то свои были, деревенские. Поняли, холеры, что через них человека казнить хотят — и ни с места. Поляки визжат, кнутами лупят-лупят, кони ржут — не ржут даже, а так — орут по-человечески, но стоят. И не стоят даже, а, наоборот, назад пятятся. Ну, пан полковник смотрел-смотрел, потом сабелькой махнул-махнул и — хрясь! И без коней его, значит, на две половинки. Да... А я убёг.

— Ага... — вступил Сильвестр. — Я что говорю? Царя у нас нет. Вот тут-то вся и беда. Нет царя, потому и победы нет. А победы не будет, пока царя не найдём. Ясно, да?

— Не. Не ясно, — хмыкнул Агафон, — тут ни конца, ни начала. Без царя не победим, а с царём... как ты там говоришь?

— Круг получается, — пояснил Сильвестр. — Чтобы победить, нужно, чтобы народ царя знал, а откуда ж царю-то взяться? Чтобы царь был, нужно сперва смуту рассеять. Вот и закручено наше дело в колечко — без начала, без конца! И значит, кончен разговор о Руси. Сгинула Русь.

— Да сколько у нас этих царей-то было?! — махнул рукой Агафон. — Что нищих на паперти! И Бориска-то — царь, и Федька его — царь, и Гришка-то Отрепьев — туды ж, царь, и Василь Иваныч Шуйский — куда уж лучше был царь! А проку нет. И эти пёрлись на царство, всякие, тушинские... Тут не в царях дело. Была бы Церковь! А и Церковь убита лежит. Вот где беда-то! И у хохлов Церкви нет — одно латыньство, и у греков то ж. Вот и выходит, что одни белые эфиопы остались, православный народ, потому что нельзя, чтобы Церкви нигде не было.

— Да церковей-то я видал сколько хошь! Дранные все, обокраденные, обожжённые, а ничего, стоят. Попик, глядишь, чуть живой, и голосу-то нет, и на ногах-то не держится, а служит, смотри-ка! А России нет. Потому это, брате, что нету царя.

Те, которые ты говорил, — это всё ненастоящие. Не по правде их избрали. Бориска — царевича Димитрия зарезал, на Федьке отцов грех нераскаянный лежал, Гришка — тот и вовсе вором оказался, а Василь Иванович...

— Гришку Отрепьева, — задумчиво начал атаман, — я самолично зарубил. Вот этой вот рукой. Поймал его, гада, за штанину, поднял вот так...

— Что-то я тебя там не видал, — усмехнулся Сильвестр. — Уж мне-то байки не рассказывай. Я последний час Григория Отрепьева своими глазами наблюдал. С посадскими людьми в Кремль бегал... Я этого Гришку... Я жалею, что руку к нему не приложил... Народу было много, толкались сильно, отпихнули меня в сторону... Я бы его... Ведь пока он ещё только в Москву шёл... Пока он ещё царём не стал... Так я его ждал! Всем говорил: ужо придёт Димитрий, — тут и задышим!.. Верил, балда, что он истинно царевич. Вот, думал, сядет над нами чудесно спасённый Димитрий Иоаннович, вот и начнётся жизнь добрая... А он!..

— Царевича Димитрия, — задумчиво сказал атаман, — я самолично в Москву привёл. Мы с моими молодцами под Москвой дрались с Борисовым войском. Дрались-дрались — одолели! Вот, говорю, Димитрий, царь ты наш! Володей! Вся Москва перед тобой! А он...

— Ты ж его вроде зарубил собственноручно? — усмехнулся Сильвестр.

— Кого? Димитрия? Я? — атаман слегка нахмурился. — Ты что брешешь-то?

— Ну ты ж сказал, что зарубил Отрепьева! — Сильвестр несколько взволновался.

— Ну, зарубил!

— А Отрепьев — он же и был Димитрием-царевичем! Что, не так разве?

— Ну, брат! — атаман тихо рассмеялся. — Я много всякого наслышался. И не за такие слова у меня люди кишки свои жевали. А тебя, брат... Царевича Димитрия с Гришкой спутал... Щас, подожди... Царевича Димитрия я самолично в Москву привёл... А Гришку я самолично... А тебя я щас...

— Да он ошибся! Ошибся! — вскричал Агафон. — Он глупый! Не понимает ничего! Перепутал! Перепутал всё на свете!

— Ошибся, значит, учиться должен, — заметил с улыбкой атаман. — Щас я его поучу малеха. Эй,

хлопче, выходи на двор, а то в кровище тут всё перепачкаем. Ну, вставай, вставай, не трясись коленками-то. Тебе не помочь ли?

Словно замороженный, Сильвестр уже поднимался с лавки, как вдруг откуда ни возьмись налетела Нюра Красногорская, ткнула его ладошками в грудь, свалила на пол и, обернувшись к атаману и насупясь потешно, выкрикнула:

— Ты его не обижай! Мы с ним поженимся!

Атаман остановился, похлопал глазами, сообщая, откуда прилетела эта трясогузка.

— Так и женись! — появление Нюры произвело некоторый переворот в его уме, и он вдруг начисто забыл свою кровожадную задумку. — Я вам мешаю разве? Женись — дело милое. Тут женишься, там женишься... В Ростове женишься, потом в Москве... В Сибирь поедешь — там тоже женишься... Хорошо! Я вот, помню, женился раз на китайке... А где бабка-то? Чего она мне попить не несёт? Эй, бабка!

— Бегу, бегу! — донеслось со двора.

Сильвестр медленно поднялся с пола, поправил кушак...

— Вот я и говорю, — заявил послушник. — Коли ни на Руси, ни у хохлов, ни у греков Церкви не осталось, значит, идём мы с тобой в Эфиопию.

— Идём, идём, — согласился Сильвестр. — Если прежде кишки где-нибудь не выроним на снег, так непременно пойдём с тобою к белым эфиопам.

На том разговор и кончился в тот вечер, но зима длилась и длилась, и вечера тянулись, незаметно сливаясь один с другим, и каждый вечер Сильвестр с Агафоном придвигали скамью к печке и начинали заливать беседой свою беду.

— Нету Руси! — всхлипывал Сильвестр. — Я это точно знаю. Я позапрошлого лето думал: ну вот, ещё год — и либо пан, либо пропал, либо спасёмся все вместе, либо все ухнем в тартарары. Год прошёл, и ни холодно, ни горячо! Ничего не меняется! Ни жизни, ни смерти, ни выздороветь, ни упокоиться! Ну, ладно, думаю: пусть ещё год пройдёт, тогда посмотрим. Проходит год — всё то же самое! Поляки, шведы, казаки, кровь льётся, власти нет... И просвета не видать!..

— Брате, брате! Ну что ты убиваешься? Ты подумай: на суде Божиим разве тебя будут спрашивать про Россию — жива она аль нет? Про то не думай! Думай о своём спасении! Будет Россия, не

будет, — а тебе душу спасти надо. Вот придём в Эфиопское царство — давай тогда вместе в монастырь поступим.

— Да иди ты... к своим эфиопам, — бессильно и жалко свирепел Сильвестр. — Я лично в Царьград иду. Греки! Вот народ могучий! Не русачки наши... Они покажут ещё! А тут... Я так загадал: если к декабрю ничего не переменится к лучшему, значит, всё, каюк. Значит, уже надеяться не на что. Так я решил — ещё в Москве-то. А сам думаю: ну, уж к декабрю-то точно развиднеется... Были у меня намётки некие... Высчитал я по Псалтыри да по книге Апокалипсис, что к декабрю должно развиднеться. Высчитал я это ещё в июле. Вот, сижу и жду декабря. Пальцы загибаю: три недели осталось, две... Сам хожу и в кулак посмеиваюсь: сейчас, мол, погодите уж, скоро, пане, полетят от вас пёрышки... Накануне спать лёг счастливый — как дитё. А проснулся, смотрю... Эх!

— Что «эх»?

— Что?! Ничего! Сам не видишь?!

— То есть не переменилось ничего?

— Нет, брате, всё переменилось! Аль не видишь? Живём — как сыры в масле! В Кремле — царь, поляки в петлях болтаются, дёргаются, послушники монастырские к белым эфиопам не бегут, а я в приказе нашем за главного!

— Что ж, выходит — размечтался, да ни с чем и остался?

— Выходит.

— А ты не мечтай! Где мечтание, там близко бес — так старцы учат.

— Да какие там мечты... Я когда понял, что подвели меня расчёты, так и решил: пойду в Константиноград. Чего мне на Москве-то дальше топтаться? Пойду, где жизнь есть, где и помереть не жалко будет, если, к примеру, греки на султана поднимутся. А если подохну в дороге, так оно и неплохо выйдет — хлопот меньше.

— Подохнуть тоже по-всякому можно! — раздался из-за их спин мягкий голос атамана. — Ежели, к примеру, в сече — это одно, это смерть сладкая. Не смерть, а радость: так на скаку и упорхнёшь. Ежели попался в плен — это смерть другая. Тут всё зависит от того, кто тебя прихватил. Если поляк — тут дело пустое. Они только орать мастера. Чего там? Руки-ноги поотрубают, ну, может, спалят... Это дело

не важное. Вот ежели турки — тут уж держись! Тут уж так и знай, пока они в тебе как следует не поковыряются — до тех пор помирать и не думай. Хотите, покажу, как они с нами управляют? Вот смотри, монашек... Подними руки... Сейчас покажу... Эй, смотри сюда, толстоносый! Чего ты пополз на сторону-то! Я ж ничего. Я просто показать хочу, как они обычно нашего брата казака ухаживают...

— Не надо мне показывать! Сказывать — сказывай, а показывать нечего! Да на мне ещё! Возьми чурбан в углу да на нём и показывай! А лучше бы пил да спать ложился! Эка, вылез! Соскучились тут без него!

— Хлопчики... вы не сердчайте! — пригорюнился атаман. — Что ж вы думаете, я не знаю, что не шибко меня тут любят! Только и знаете: пей да на печку... И долго ль мне тут клопов давить? Скорей бы весна да на Дон! И девчонку с собой заберу. Девчонка хороша! Она со мной с радостью пойдёт. А не то так я через неделю тут всех вас порешу с горя. Вы обиды на меня не держите, но хочется мне другой раз и сабелькой помахать, и на коне погулять... Без радости живём!

— И он, вишь, горюет, — усмехнулся Агафон, — и он весны ждёт. Ну, дождёмся же когда-то! Вот уж февраль кончается. И осталось-то всего ничего... Как тут старушка без нас будет? Куда Нюрочку денет?

— Пахом их не оставит, — решил Сильвестр. — И чего ты о них плачешься — мы всю Россию оставляем, а ты о селе Собаьем загрустил. Пропали они, эти сёла, пропадом. Всё равно пропадать им. Судьба у них такая, вышло их время. Век бы этой землишки скособоченной не видать: давал Господь Руси царскую корону, а корона эта и на голове у неё не держится — мелковата башка оказалась!

— Ну ты, сударь, не ругайся! — нахмурился послушник. — Сам-то не русский ли?

— А тебе-то что? Ну, русский. У тебя ж родина одна — Небесная, что тебе с того, что я Русь ругаю? Она моя, Русь! Она мне вроде дочки — хочу ругаю, хочу пряничком подарю.

— Русская земля нам мать, а не дочка!

— Это как сказать, брате, как сказать! Кому, может, и мать, а мне — дочь. Или младшая сестра. Я за ней ходить должен. Сопли подтирать. Охальников всяких от неё отгонять. Подарки дарить.

Радоваться должен, глядя, как она растёт и хорошеет. А она, вишь, захворала. Ну так, значит, лечить надо! И я ведь её лечил. Уж лечил, брате послушнике, лечил как мог! Лекарей к ней приглашал: Гришку вот Отрепьева, к примеру... Ну, ошибся чуток... не тот лекарь попался. У тебя, послушнике, сёстры меньшие в семье помирали?

— У меня только братья... ну, помирали...

— Братья — это не то. У меня три сестры померли в разное время. Вот, доложу тебе, несладко было! Три дня потом трясеешься как припадочный. И жалко-то! Сердце рвётся, рвётся... Да не разорвётся никак. Думаешь только: и на что такое прочное сердце мне досталось — орехи им колоть, что ли?.. Не мог смотреть, как они мрут, — убежал из дома. И сейчас бегу — из Русской земли. Дай только Бог ноги! И пойдём-ка спать: гляди, атаман уж и без зелья уснул.

И вскоре настал март. Но ни на волос не изменилась жизнь невольных затворников собачинских. Выйдя на двор, они видели всё тот же белый, твёрдый, как мрамор, снег, и казалось им, что снегу этому, как мрамору, век лежать без перемен. Борясь с тоской, они, словно усердные батраки, работали на всех старух и стариков села Собачьего, починили не один сарай, выложили не одну печь, привезли не одну подводку дров... Да не было толку с той работы. Быстро, как лучина, догорал мартовский — ещё совсем зимний — день, и до слёз долго тянулись вечера. Хуже всех маялся атаман. От непрерывной пьянки он совсем посинел, скосился лицом на сторону и уже не свирепствовал, а сидел на печке, свесив босые пятки, жалобно охал, ворчал, рыгал, плевался, рычал... Всё чаще на их вечерние посиделки приходил мужик Пахом. Ладный и светлый лицом, садился он в уголок и с удовольствием слушал «барские беседы», сам в них вмешиваясь редко.

Сильвестр с Агафоном мучили все ту же скрипку:

— Господь забыл Русскую землю! — начинал Сильвестр Афанасьевич.

— Не забыл, а закрыл! — поправлял его брат Агафон. — Такое дело не без промысла Божия совершается. Пожила Россия и всё, хватит. Теперь настало время другому народу просветиться светом православия. Русские люди, кто мог спастись, тот спасся, кто не захотел — извините! Время вышло, — идите, девы юродивые, прочь,

не вем вас! Теперь время китайцам спастись.

— Кому?! Ты чего городишь? Каким китайцам?

— Ну, это я так, к примеру. Может, не китайцам, а татарам или, скажем, индийцам... Не суть.

— Нет, неправильно это! Не так всё должно было быть!

— Ну, брате, ты против Божьего промысла не восставай. Уж если закрылась Россия, так, стало быть, закрылась, и если не к концу света идём, то, значит, некий другой народ должен креститься и просветиться...

— Это понятно... Но вот ведь где беда: Россия-то закрылась, а мы — нет! Почему мы должны это всё пережить? Это выше сил человеческих! Почему весна не наступает? Хочется вон из России, и чтобы духа её не было, чтобы и не видеть, и не вспоминать!

— Брате, не малодушествуй! А как же греки? Разве им сладко было, когда султан в Святую Софию на коне въехал? Думаешь, ты один такой чувствительный, а для них это всё хаханьки?

— Так греки все и разбежались — кто поумнее. Одни во фряжские земли, другие к нам, третьи ещё куда... И вообще, греки — это не наш брат, запечник. Они сейчас сил немного поднаберут да султану твоему так врежут!.. Вот и вернётся православное царство, и не надо будет китайцев крестить. Дал бы Бог поскорее туда добраться...

— Поскорее! — взвыл с печки атаман. — На Дон поскорее!.. Не могу здесь больше!

— Экие вы все нетерпеливые, — усмехнулся Агафон. — Вот, смотрите-ка: Пахом сидит, улыбается и никуда не торопится. Никуда ему бежать не надо.

— А куда ж мне бежать? — застеснялся Пахом. — Я вроде как тутошний. Я здесь спокон веку живу, и тягька мой здесь помер... Мы ж собачинские... Чего мне бегать?

— А вот что Русь кончается — это тебе как? Это тебя не волнует? — строго усмехаясь, спросил охотника Сильвестр.

— Этого я не понимаю, — просто ответил Пахом. — Это ваши дела, барские.

— Ну как же не понимаешь? — удивился Сильвестр. — Вот поляки озоруют, казаки... Всю деревню вашу перебили — это ты не понимаешь? Тебя не касается такое?

— Ты ж сколько времени без церкви живёшь с тех пор, как поп сбежал! — вступил Агафон. — Наплевать тебе на это, что ли? Православный ты человек или кто?

— Не знаю... — протянул Пахом. — То есть вера, оно конечно: веру мы держим, мы не татары какие. И деревня... Жалко деревню... Жалко мужиков... И баб... Тяжёлое время Господь послал.

— А что ж ты улыбаешься-то, если время тяжёлое?

— Так я и плакал ведь, когда поляки налетели... Ох и горя было! Вот уж горе! А сейчас-то что? Живы остались, и слава Богу. Живём, значит.

— А если завтра опять налетят? И ведь налетят, непременно!

— Ну так что ж? Бог даст, снова спасёмся. А нет — ну, на нет и суда нет. Только что ж об этом сейчас думать? Вот как налетят, тогда и подумаем.

— А если, — Сильвестр грозно прищурился, — если завтра тебе скажут: «На Москве ныне польский царь! Давай, Пахом, перекрещивайся в латыньскую веру! А на селе у вас вместо русского барина будет ясновельможный панствовать!» Что тогда?

— Этого мы не понимаем, — твёрдо сказал Пахом, явно желая прекратить разговор. — Мы царей не выбираем. Мы и бояр не сами себе на шею сажаем. Придёт пан — ну, значит, пан. Ежели сильно запанствует — можем и подпалить, можем и рогатиной...

— Сабелькой раз! И башку долой! — радостно подхватил атаман. — Пана зарубить — это милейшее дело... У нас на Дону...

— А вот скажи-ка, Филипп Филиппыч, — обернулся к нему Агафон, — почему речь у тебя русская? Я ведь казаков слышал-переслышал, до сих пор их голоса в ушах стоят. Они иначе говорят. И слова у них иные. Ты вот, к примеру, говоришь «сейчас» и «шас», а они — «зараз». И глаголь-букву они выговорить не могут: у них то ли хер-буква, то ли вообще не пойми что получается, мне так и не сказать... А у тебя глаголь русский. Это как понять?

Атаман удивился, подумал с полминуты, потом соскочил с печи и ухватил Агафона за плечи — хотел за горло, но промахнулся.

— Я тебя, поганка монастырская, сейчас в стенку вобью!

Пахом быстро выскочил из своего угла, в один прыжок подлетел к атаману, выдернул из-под Сильвестра лавку и звучно треснул ею атамана по лбу. Атаман обиженно повернулся к нему, поднял кулак, но Пахом легко, словно котёнок, отскочил в сторону и вновь хватил атамана лавкой — на этот раз по затылку. И в третий раз прибавил, для верности. Тогда атаман наконец упал. Пахом укоризненно покачал головой:

— Эх ты, Агафон Сидорыч! Что ж ты лихо будишь? Что язык распускаешь? Ну, догадался, ну и держи при себе! А если бы меня не случилось — как тогда? Кто бы тебя защитил? Сильвестр Афанасьевич — человек умственный, он в таких делах не помощник.

— Так я, это... — Агафон вертел головой, разминал горло и откашливался. — Я ж давно догадался, да молчал... А тут ненароком с языка сорвалось...

— Так он не казак? — спросил Сильвестр, обиженный тем, что признали негодным для защиты.

— Какой такой казак! — рассмеялся Пахом. — Я узнавал. С Твери он. Купецкий сын беспутный. Всё пил да гулял, да Тверь кулаками пугал. Тяжку разбойники повесили, так он решил на Дон перебраться... Сперва в Сибирь, правда, ушёл, там поразбойничал... Потом у нас застрял — вроде как и вы. Давайте-ка все разом поднимем его на печь: утром проснётся, ничего не вспомнит...

Так и вышло.

Но утром случилась другая беда. Едва успели позавтракать, пришёл Пахом, бледный и строгий, и сказал:

— Поляки идут.

Сильвестр с Агафоном повскакали из-за стола:

— Где поляки? Откуда? Сколько?

— Черндворские мужики за ними украдкой в лесу проследили. Говорят: идут поляки — человек сто. Ихнюю деревню, должно быть, мимо обойдут, не заметят, а на нашу прямиком выйдут. Кто знает, что за люди, откуда взялись... Оборванные сильно, голодные. Может, от полка какого отбились, может, ещё что... Не знаю. Оружие, впрочем, у них в порядке, — так говорят. Ведёт их полковник — важный такой пан, толстый, усатый...

— Да что нам с его усов! — завопил Агафон. — Ты скажи, когда здесь-то будут? Удрать успеем?

— Так это... — засмутился Пахом. — Удрать-то, конечно... Они к вечеру будут, не раньше... Удрать-то мы успеем! Тут другая незадача...

— Уж не драться ли ты с ними задумал? — спросил Сильвестр, чувствуя с удивлением, что лицо его расплывается в улыбке. Сто человек поляков против их четверых — это хорошо. Вот и послал Господь славную смерть, не оставил милостью своей. Не повезло Сильвестру Афанасьевичу родиться: не в те годы на свет пришёл — ни при Димитрии Донском и ни при Иоанне, грозном царе, — зато уйдёт по-человечески. Не в лесу замёрзнет и не под забором сгниёт. В волнении он пригладил волосы, подкрутил поникший было ус и махом допил весь свой кипяток с вареньем.

— Да чего там драться... — покривился Пахом. — Кто драться-то будет? Ты, что ль, Сильвестр Афанасьевич, или ты, Сидорыч? Не... тут даже если с атаманом на пару... Не...

— Так что ж тогда? — сухо спросил Сильвестр.

— Пугнуть их надо... Пошуметь чуток... Пусть они нас обойдут стороной. Ведь подумайте, господа хорошие: едва только деревня отстроилась с вашей помощью... Вроде жизнь опять начинается... А скольких они старух-стариков порешат? Вы ж их знаете: из баловства двух-трёх повесят, трёх-четырёх под горячую руку пристрелят, а у остальных последнее отымут — те и ноги протянут с голоду. Нельзя бы так.

— И чем же ты их пугать вздумал? Атаманским криком? Этот точно: как гаркнет, так два полка разбегутся...

— Пушек у них нет, вот что. Пушки они испугаются.

— А у тебя, значит, пушки есть? И много? По две на брата выйдут?

— Да вы не смейтесь. Пушка есть. Одна. Её поляки забыли, как в прошлый раз тут проходили, а я её нашёл. Она спрятана, в лесу лежит. Хорошая пушка, на колёсах. И порох есть, и ядра...

— А пушкарь? Пушкарь у тебя есть, запасливый ты человек?

— Так атаман говорил, что хорошо стреляет. В Сибири, говорит, по татарам бил...

— Он тебе не то ещё скажет! — усмехнулся Сильвестр и вновь размечтался. — Встанем у

пушки! Вжарим по гадам! Уж человек пять положим. Не зря подойдем.

— Ну, так пошли! — закричал он, петухом вскакивая с лавки. — Эй, атаман! Станицу проспшишь! Подъём! Подъём!

На секунду с печки свесилась недоуменная, заплывшая синим косматая рожа, потом в один миг огромная туша бесшумно взвилась в воздух и мягко приземлилась рядом с Сильвестром. Зловонная пасть распахнулась:

— Чего?..

— Ничего. Поляков бить идём?

— Ну, идём. Поддай-ка мне сапожки.

Ничего не ответил Сильвестр Афанасьевич и пошёл искать свой полушубок, принадлежавший некогда бабкиному сыну, убитому поляками.

Пушку Пахом спрятал в шалашике на полянке, недалеко от деревни, шалашик же так завалило снегом, что охотник долго его искал среди прочих сугробов. Потом они, упираясь, волокли эту здоровенную медную трубу на колёсах, колёса же обледенели и не вращались. Атаман им не помогал. Он шёл сзади, помахивал сабелькой, приплясывал и что-то бормотал, а может быть, напевал.

— Это он сабельные приёмы повторяет, — пояснил Пахом. — Поляки перед боем так же отплясывали.

— Знаем, учёные, — проворчал Агафон. — Век бы таких плясок не видать.

— Эй, казаче! — отплёвываясь от снега, прокричал Сильвестр. — А ты подлинно ли пушкарить умеешь?

Атаман ничего не ответил, лишь махнул саблей с каким-то особенно вычурным вывертом и под корень ссёк претолстую заледенелую ольху.

— Спрашивают тебя! — настаивал Сильвестр. — Чего ради надрываемся, махину эту волочём? Может, зазря? Может, ты и не пушкарь никакой?

— Пушкарь, — кратко ответил атаман, подпрыгнул сажени на две и в полёте рассёк надвое молоденькую ёлочку.

— Саблю зазубришь, балда! — прокричал Пахом, подлезая под лафет, чтобы вытолкнуть пушку из сугроба.

— Успею наточить, — благодушно отвечал атаман. — Мы ещё пообедать успеем, не только что...

Они вытолкали пушку из леса в деревню, протаскивали её, упирающуюся, мимо горестно молчащих собачьевских старух и волокли на горку. Никогда прежде Сильвестр здесь не бывал. С горки открывался вид на просторное вытянутое озеро — гладкую, не тронутую ни одной ногой снежную равнину. Пахом с Агафоном подтолкнули бревно под пушечные колёса, атаман плясал, выписывая саблей вензеля, а Сильвестр засыл, вперяясь взглядом в снежное озеро. Широкие пространства всегда завораживали его: горожанин, он простора побаивался. Тем более, если отсюда придут...

— А они отсюда придут, поляки-то? — спросил он Пахома.

— Точно, отсюда. Неоткуда больше.

Точно, отсюда. Выйдут — вон, из леса, и будут долго брести по снегу... Тут не меньше двух вёрст... А потом? Будут карабкаться по скользкому склону на горку, кричать, соскальзывать, орать грозно, махать саблями... Стрелять будут. Вот тут-то и случится. А мы-то сами успеем ли стрельнуть хоть раз? Неужто атаман сумеет? А что такое один выстрел? Они разозлятся только. Или нет, не пойдут против пушки. Дураков нет на пушку лезть. А может, и правда, испугаются, повернут?.. Пахом ведь знает, что делает: он человек неглупый. Он очень даже неглупый и зазря не станет в пушки-ядра играть.

— Ну, пойдём, Сильвестр Афанасьич!

— Куда?

— Обратно, в лес: за ядрами, за порохом. Ничего, теперь полегче будет: на санках покатым.

Санки, впрочем, тащили сами: Пахом свою лошадку беспокоить не дал. Возвращаясь, издали увидели такую картину: человек десять старух — чёрных и молчаливых — обступили атамана, а он, точно плясун-пастух в окружении девичьего хоровода, выламывался как умел, прыгал на одной ножке, на другой, на двух, и бочком, и задом, и сабелькой то в небеса тыкал, то взбивал ею снег, то со свистом проносил её над старушечьими головами. Впрочем, бабки не пугались, а стояли молча, недвижно и только губами чуть заметно шевелили: то ли молились о ниспослании победы, то ли уже отпевали последних своих защитников...

— Ну вот! — сказал Пахом, пытаясь отдышаться

ся. — Давай, Филипп Филиппыч, кормилец наш! Начинай! Привезли тебе всякого товару.

Атаман почувствовал, что на него смотрят, кончил пляску и повернулся к пушке.

— Чего? — и надолго замолчал, раздумчиво разглядывая лица товарищей.

— Чего-чего!.. Пушку, казаче, заряжай! — взвизгнул Сильвестр Афанасьевич, взвизгнул неожиданно для самого себя. Страх пробрал его внезапно, удаль куда-то ушла, а на её место заступила мерзкая мелкая трясушка. Самые дурные предчувствия, видимо, оправдывались: атаман стоял и тупо пялился на укрытые холстиной ядра и бочонок с порохом.

— Чего? Заряжать? Так вроде рано ещё. Ещё пообедать успеем. Я уж проголодался...

— Может, тебе ещё и зельца принести! — Сильвестр, глупо размахивая руками, побежал на атамана, но был удержан за шиворот спокойным и страшно сильным, как выяснилось, Пахомом.

— Чего разволновался-то, Афанасьич? — ехидно улыбнулся Агафон. — Ещё поляков нету, рано труса праздновать...

— Нету, так будут! Потом пожалеете... Да поздно... — Сильвестр изо всех сил пытался сохранить достоинство, дёргаясь в руках Пахома. И именно тут — ни раньше, ни позже, строй старух раздвинулся и на фоне их чёрных полушубков нарисовалась рыжая, узорно расшитая шубка Нюры Красногорской. Нюра вышла вперёд, сложила руки на животе и разулыбалась.

— Это Силюшка, боярский сын! — сказала она старухам, указывая на злого, покрасневшего от позора Сильвестра. — Мы с ним поженемся. Он к батюшке сватов засылал. Силюшка, суженый мой ненаглядный! Уж так его батюшка мой любит — как сыночка милого! А этот, — она показала на атамана, — дружкой будет.

Волосы её неряшливо выбивались из-под дорогого платка, глаза чуть косили, и улыбка была, по правде сказать, весьма широкой, слишком широкой, чуть подрагивающей. «Лучше, когда она спит, — подумал Сильвестр. — Во сне она всё-таки на девицу похожа, а не на юрода».

— Отведи-ка ты её, Сильвестр Афанасьич, домой, — мягко приказал Пахом. — Чего ей тут топтаться, на ветру.

Сильвестр решительно взял Нюрину ладошку

в вязаной рукавочке и повёл было за собой, но княжна, сделав три-четыре шага, вдруг села на снег и насупилась.

«Чего ж дальше-то делать? — подумал Сильвестр в тоске. — За уши её, что ли, поднимать?»

— Анна Несторовна! Изволь домой пойти. Со снежку-то поднимись, боярышня! Сделай милость!

— Силька! — она посмотрела на него и расхихикалась. — Силька! Усы тараканьи! Ты целоваться умеешь?

Сильвестр Афанасьевич вспомнил, как подростком управлялся он с Катериной, младшей сестрицей, подхватил Нюру под мышки и с пинками поволок в избу. Боярышню, видимо, смутило такое обращение. Она вырвалась, испуганно ссутулилась, поджала губы и, мелко перебирая ногами, потрусил по узкой, едва протоптанной тропинке. «Теперь сама дойдёт!» — решил Сильвестр и развернулся, но, сделав шагов десять, догадался, что Нюра идёт за ним. Так и было. Несколько раз он пытался прогнать её, но ничего, кроме горячих слёз, не добился. «Леший с ней! — подумал он. — Леший с ней! Что с дурочки взять? Пусть бежит сзади, для меня в том позору нет!»

— Обратно привёл! — рассмеялся Пахом, увидя их вместе. — Никак расстаться не можешь?

— Долго ходишь, — сердито буркнул Агафон. — Пушку зарядить уж успели.

— Правда? — растерялся Сильвестр. — Ну так что теперь? Стреляем или... — и сам себя оборвал, поняв, что говорит глупость.

— Обедать идём! — важно приказал атаман. Он успешно справился с зарядкой и теперь до ушей был полон сознания собственной значительности. — Успеем ещё отобедать и вздремнуть...

У ворот их встретили всё те же старухи. У каждой в руках был какой-нибудь гостинчик: пирожок, или варёная курица, или сладкая репка. Все хотели угостить героев, но не решались, а только робко посматривали на них из-под платков.

— Ага! — сказал атаман, на ходу вырывая куриную ногу, торчащую из узелка близ стоящей старухи. — Это дело! Теперь винца ещё...

Сидя за обеденным столом, они долго и старательно ели, а старухи стояли вокруг и тихо плакали. Никогда ещё такого обеда не было у Сильвестра Афанасьевича. «Как будто на



собственных поминках!» — думал он, уминая пятое крутое яйцо. Желудок вдруг стал бездонным, и хоть голода не чувствовалось, но съесть он был готов и кабана. Атаман, запихнув в рот целую ватрушку, нечленораздельно просил у Манешки бражки, а Манешка клялась страшными клятвами, что ни капли не осталось, когда дверь распахнулась и крошечная девчонка в тулупе пропищала с порога:

— Бабушка велела передать: поляки пришли!

Все страшно всполошились, кто-то смахнул со стола глиняное расписное блюдо, Пахом забегал по избе, ища шапку, Агафон то поднимался из-за стола с решительным видом, то вновь падал на лавку, один Сильвестр Афанасьевич, спокойный и чуть печальный, стоял столбом у двери и ждал, когда атаман наконец натянет свои щегольские, слишком узкие сапожки. Какая-то бабка всё совала воинам свою, не принятую за обедом репку, но от неё отмахивались раздражённо, и тогда она испуганно и сокрушённо качала головой. Сильвестру вдруг стало до слёз жалко эту старушку.

— Бабуся! — сказал он проникновенно. — Ты давай репку-то свою. Я их шибко люблю — репки. Вот поем с удовольствием!

Жалобно улыбаясь, бабуся вложила ему в руку своё нехитрое угощение:

— Поешь, сыночек! Дай тебе Господь с этой репки силы поболе на супостата!

Сильвестр хлопнул носом и поспешил выйти в сени. Вслед за ним выскочил — без шапки — Пахом.

— Быстрее, быстрее, подьячий! Шевелись! Сейчас нам польскую закуску выдавать будут!

Вчетвером, страшно запыхавшись, добежали они до пушки.

...Вот оно — идут. На дальнем конце озера двигалась большая толпа чёрных человечков. А может, это не поляки? Дурацкая мысль. Идут. Идут, не остановятся, не свернут. Прямо на нас. Сколько им ещё идти? Ещё успею... Что? Подышать спокойно. Давай подумаем, что нам нужно? Помолиться? Да. Это да. Вообще-то, мыслей не собрать, и с другой стороны, молись не молись, а я же за други своя живот кладу. Мне и так, без молитвы, полагается прямым ходом в рай. А вообще-то я спокойный. Вот, стою, дышу равномерно, могу и посвистеть: вот так.

— Ну что ты тут губы выпятил? — яростно завопил Пахом. — Коня, что ль, понукаешь? Помогай пушку разворачивать!

— Шас... — говорил атаман, щуря глаз. — Шас, поближе подпустим. На таком расстоянии не пальба. Спокойно, братишки! Угостим со всем радушием! Я не в первый раз, не боись... Всё заряжено, всё в порядке... Только фитиль поднести... Ещё минутку-другую потерпите, братишки... Ну вот. Пора.

Он сурово выпрямился, перекрестился... Глядя на него, Агафон перекрестился трижды, потом упал на колени и поклонился головой в сугроб.

— Уши берегите, братишки! — предупредил атаман, и тут бабахнуло. Вовсе не так оглушительно, как думал Сильвестр. Пушка коротко плюнула огнём, дохнула густым едким дымом. Сильвестр явственно увидел, как пролетело над озером ядро и как упало оно шагах в двадцати от головы польского отряда. Поляки остановились.

— Остановились, ха! — весело оскалился Пахом.

— Снег кидайте на пушку! — деловито распорядился атаман. — Пусть-ка остынет. Я ещё раз пальну.

Они принялись засыпать ствол снегом. Снег на стволе таял медленно, только у самого жерла капли талой воды шипели и пузырились.

— Это так все пушкарки делают? — почтительно поинтересовался послушник. — А летом как же? Когда снега нет?

— Не знаю... — лениво пожал плечами атаман. — Это я сам сейчас придумал. Всё, хорош! Смотри-ка, опять поползли. Заряжай!

На этот раз выстрел показался Сильвестру гораздо более громким, у него даже ухо заложило. Ядро теперь влетело прямо в гушу упрямо наступавшего отряда. Пахом с Агафоном вопили и прыгали в восторге. Сильвестру показалось, что он видит кровь на снегу, хотя до поляков было никак не меньше полуверсты.

— Ну, чем я не пушкарь? — закрутил ус атаман. — А то не хотели мне пушку доверить!

— Кто не хотел? — удивился Агафон. — Мы, что ли?

— Да нет. В Сибири казаки. Так ни разу меня к пушке и не подпустили, псы. Шас ещё раз пальнём. Чтобы уж наверняка.

— Остужаем? — спросил Сильвестр.

— Да ну его! И так сойдёт.

И они зарядили в третий раз. Атаман с Пахомом начали спорить, кому подносить фитиль. Пахом, словно малое дитя, налетал на Филиппа Филиппыча, тот нехотя отпихивал его и поднимал зажжённый фитиль высоко над головой. Пахом, поблуднев от азарта, прыгал вокруг атамана, всё пытаясь дотянуться до фитиля. Сильвестр устоял на поляков. Те нерешительно мялись на месте. На снегу лежали две неподвижные фигурки. «Кажется, в порядке дело!» — успел подумать Сильвестр, и тут грохнуло раз в пятьдесят сильнее прежнего. На самый краткий миг он увидел, что снег, крыши изб и верхушки деревьев уходят куда-то вниз. Он испугался, он смертельно испугался и то ли от ужаса, то ли ещё от чего потерял сознание. Знакомая бездна без времени, без движения, без протяжённости заключила его душу в свой равнодушный плен.

Очнулся Сильвестр на снегу. Перед глазами его стояло чуть потемневшее безоблачное небо. Долго пялился в это небо Сильвестр Афанасьевич, с большой неохотой выпуская душу из немой бездны на свет Божий, пока его кто-то не окликнул.

— Брате, живой ли?

Сильвестр беззвучно пошевелил губами.

— Это всё Пахом виноват... — шептал Агафон. — Ты видел? Нет, ты на поляков смотрел. Дай, говорит, я пальну. Атаман ему: не дам! Он принялся фитиль вырывать у атамана из рук и попал огнём в бочонок с порохом. Я это всё так чётко видел, что до сих пор всё перед глазами стоит. Вижу, атаман упал, в снег зарываться начал, а Пахом стоит и глазами хлопает. И тут как полыхнуло! Так полыхнуло!.. Я за пушкой стоял — тем только и спасаю.

— А что мы тут лежим? — спросил Сильвестр.

— Так где положили, там и лежим, брате.

— Ну, давай вставать. Пойдём домой.

— Да нет, брате, домой не получится. У поляков мы. Связанные лежим. Вот попробуй-ка пошевелись.

Сильвестр попробовал и понял, что послушник сказал правду.

Кто-то пнул его в бок. Сильвестр задрал голову и увидел над собою некую бесформенную тень — очевидно, человека. Снова его пнули,

на этот раз чувствительно, по почкам. Усатое лицо склонилось над ним — незнакомое, свирепое, устрашающее. Раскрылся тонкогубый широкий рот, показались жёлтые кривые зубы, язык шевельнулся...

— Живой, гадюка! — сказал человек.

— Все живые остались, — подтвердил кто-то невидимый. — Одного только разнесло по косточкам.

— Подумай, Никола: они одним выстрелом четверых наших уложили, а сами... На бочонке с порохом в небеса летели — и хоть бы что. Заговорённые, это ясно.

— Пожалуй, что заговорённые. Это проверить легко. Давай я пальну в толстого: если выйдет осечка, значит, тут не без колдовства.

На минуту воцарилась тишина. Потом кто-то хихикнул:

— Ну что ты, Никола, так долго целишься? В этакое кабана и за версту не промажешь! Ты ж вплотную к нему стоишь.

До Сильвестра донеслось знакомое рычание атамана. Филипп Филиппыч давал краткие определения всем, кто столпился вокруг него.

— Ругается, гадюка! — сказал кто-то. — Что ж ты, Никола, не стреляешь?

— Не, мужики, я другое придумал, — заторопился Никола. — Вот если, к примеру, взять этого толстого и привязать на ту берёзу... Да? Видите? Вон туда.

— Повесить, что ли?

— Да не, не повесить, а прямо к стволу привязать... А потом пальнуть в него с полтора шагов!.. Как в яблочко!.. Понравится ли такое вам, господа?

Господа задумались.

— Ну, ты, Никола, придумал вечно! — сказал кто-то не очень бодро. — Нет чтобы попросту, всё бы тебе умственность какую-нибудь...

К беседующим подошёл ещё кто-то. Даже по звуку шагов Сильвестр понял, что это командир.

— О чём, ребятки, беседуем? — пропел мягкий бас. — Что уставились на этого злодея? С ним дело ясное — ствол ко лбу и аминь. Сколько, вы думаете, в его шайке народу было? Человек пятьдесят или поболее? Этих мы поймали, а остальные, как я понимаю, разбежались, — верно я мыслю? Нужно, ребятки, ждать сызнава удара. Сейчас

они соберутся, и тогда нам жарко придётся, — верно я говорю?

«Выходит, не поляки это! — подумал Сильвестр. — По-русски говорят. Значит, казаки! Ещё чище! А может, атаман с ними споётся? Может, и за нас словечко замолвит? Постой-ка... Агафон жив, и атаман жив... Кого ж тогда по косточкам-то разнесло? Погоди... Нас было четверо... Агафон, атаман... Ещё двое... Или Пахом, или... Да я ведь тоже живой. Стало быть, Пахом. Ну, жаль мужика! Царствие Небесное».

Меж тем разбойники (или, быть может, всё же поляки? — у двоих речь всё сбивалась на польский) нестройно объясняли командиру Николину задумку — использовать атамана в качестве живой мишени.

— Не время ныне, ребятки... — недовольно тянул командир. — Того гляди, они по нам снова ударят, а мы тут бирюльки разведем? Того невозможно допустить... Ни, не позволяю. Ствол ко лбу — и аминь! Эй, ты, толстый человек, скажи, сколько ваших в деревне спряталось?

Атаман изрыгнул нечто неудобовоспроизводимое.

— Ни, человек, не бранись!.. Ты добром расскажи, всё как есть, а не то мои ребятки приготовят из тебя хороший мадьярский гуляш! Ты бывал у мадьяр? Ни, ты не плюйся: всё равно до меня не доплонешь, а лучше всё добром рассказывай. Много там, в деревне, таких-то, как ты, толстяков? Ни, ты не брыкайся...

— Пане полковник! Дозвольте мы его к дереву привяжем! Может, он нам с дерева расскажет?

— Ну что с тобой сделаешь, Никола! Ну, привяжи! Только чтобы, когда ты будешь привязывать, пусть другие круговую оборону займут. Да поставь трёх человек для охраны величества, — смотри, не забудь! А скажи на милость, что это за люди тут ещё валяются? Это тоже пушкарки? А ну, дай-ка я взгляну...

Мягкими шагами подошёл командир к Сильвестру и вырос над ним — высокий, толстый, в длинном красиво расшитом доломане, в польской крошечной шапочке — слегка потыкал его в бок носком красного сапожка, склонился, почти нос к носу, а нос у пана полковника оказался увесистым и горбатым, под носом же курчавились длинные, но тонкие и словно как натёртые сажей

усы. Посмотрел пан полковник в глаза Сильвестру маленькими своими глазками и улыбнулся огромным ртом до ушей:

— Эге, молодой русский боярин! Сейчас вижу москвича! Добро. А это кто? Духовного звания? Таких мне не надобно. Разве вот величество полюбопытствует... непременно должен полюбопытствовать! А что, молодой москвич, может быть, ты мне скажешь, велико ли войско в деревне укрыто? Э?

Сильвестр молча соображал, стоит ли ему говорить правду, не лучше ли будет наврать о великом войске, которое вот-вот ударит и разнесёт в пух эту нелепую шайку. Ну, допустим, совру. А они? Ну, допустим, поверят. И что дальше? Убегут, — а с нами как же? С собой прихватят или пристрелят на месте — скорее всего так и будет. А если правду сказать? Ох, надоумь Господь...

— Так я ведь жду! — хмурился полковник. — Или ты, быть может, язык себе откусил, когда от пушки летел? Такое бывает. Ну-ка, покажи язык!

Сильвестр послушался. Полковник расхохотался. Тут послушник с усилием сел на снегу, помотал головой и жарко заговорил:

— Ну что тебе надо от человека, латынец ты окаянный! Ну видишь, оглушило его взрывом, мозги ещё не улеглись в голове! Нет никого в деревне, никакого войска! Одни в деревне старухи! Был мужик, да и тот на воздух улетел! Что вам тут искать? Нет тут для вас поживы и не ищите! Старухи едва себя прокормить могут, куда им ещё вас кормить? Идите, люди божии, идите отсюда, не последняя это деревня на русской земле. Ищите пожирней кусок, а нас оставьте Христа ради!

Полковник внимательно выслушал Агафона и, нахмурившись, спросил:

— А почему я буду тебе верить? Я думаю, что ты говоришь неправду. Войска нет, а пушка, однако, палила! Я думаю, что в деревне скрыто великое войско и, как только мы повернём, оно ударит нам в тыл! А? Что ты на это скажешь?

Агафон дёрнул плечом — верно, хотел махнуть рукой.

— Ну, оставайся здесь. Пусть войско вам в нос ударит.

Тут издали донеслись выстрелы и чьи-то трубные вопли. Сильвестр понял, что это каза-

ки привязали-таки атамана на берёзу и теперь упражняются в стрельбе по нему. Полковник оборотился в сторону выстрелов и задумчиво нахмурился. Связанный по рукам и ногам послушник, с кряхтением извиваясь и подпрыгивая на заднице, развернулся в ту же сторону. Некоторое время они молчали. Сильвестру очень хотелось тоже посмотреть, как творится расправа над атаманом, но не хватало сил, чтобы подняться. Выстрелы же и вопли не прекращались. Наконец примчался некто в драном польском кафтане и в русской крестьянской шапке и, размахивая руками, закричал:

— Да точно они заговорённые! Почитай тридцать раз пальнули, а он всё живой! В кровище весь и оба уха отстрелены, а всё живой! Орёт, как бык под обухом, — откуда только силы берутся на такой крик?! Другой и не раненый, а только крикнул бы один раз таким криком — и сразу дух вон! Нет, нечисто тут! Чародейство тут! Лучше бы уходить, пане полковнику!

— Тут не чародейство, а стрелки вы у меня такие! — покачал головой полковник. — Довольно! Раз на ваши выстрелы никто не сбежался, значит, я понимаю так: нет никого в деревне. Передай Николе, пусть строит войско и идёт занимать дома. Тут покамест остановимся. Лучший дом — для величества, как ты понимаешь. Просторный, чтобы и мне поместиться, и этим пленникам! И толстяка своего снимайте с берёзы и туда же — к нам. Он нам ещё пригодится.

И вот мазурики взвалили защитников деревни на плечи, словно мёрзлые брёвна, и потащили во двор всё к той же бабке Манешке, там их сбросили в дровяном сарае, а сами пошли в избу готовить жилище для своих начальников.

Сильвестр лежал под опасно нависшей над ним поленницей, чувствовал, что до последней степени задубел от холода, слышал, как рядом елозит связанный послушник, как хрипит и взрыкивает простреленный в нескольких местах атаман, — и не думал ни о чём, ничего не боялся, ничего не ждал. Им опять овладела забывая было обморочная одурь: прошло неизвестное количество лет или, может быть, веков, когда его разбудил пинок в плечо:

— Вставайте, оканные! Сам царь-государь судить вас будет!

— Как же мы встанем? — хрипло, чуть слышно проскрипел послушник. — Мы ж связанные и зачоченели все!

— Небось, развяжу! — ответил разбойник и принялся разрезать на них верёвки.

— А не боишься нас на волю пускать? — хмыкнул Агафон. — Нас двое всё-таки, а ты — один...

— Боялся медведь коровы... У вас сейчас ни руки, ни ноги толком не шевелятся, а у меня вон что есть! — и разбойник показал им тяжёлую, похожую на старинный меч саблю: — Эта палочка-выручалочка меня не подводила покамест... Да и куда вам бежать? Зачем? Я ж не на казнь вас веду, а на царский суд... Государь вас казнить не будет, он, я смекаю, вас в войско зачислит...

— Какой государь? Какое войско? — с трудом шевеля языком, спросил Сильвестр.

— Какой государь?.. Эх, боярин... За такие вопросы башку бы тебе расколоть — вот этой сабелькой... Не хочешь?.. Наш государь! Всея Руси Феодор Борисович!

— Феодор... Борисович... — Сильвестр хотел удивиться, но побоялся.

Разбойник лишь благодушно усмехнулся:

— Ну как, ходить-то можете? Идём в избу!

Посреди главной горницы в обширном поповом доме разбойники — грязные, оборванные и очень усталые мужички — выложили некий помост из брёвен, застелили его грязным, вытоптаным ковром, на ковёр поставили массивное резное кресло — видимо, очень дорогое, в позолоте и со следами выковыранных драгоценных камней. По правую руку от этого кресла встал толстый, румяный, чем-то очень довольный полковник, а по бокам — двое поляков с обнажёнными саблями — оба крепкие, высокие, усатые и, в отличие от прочих оборванцев-разбойников, нарядные. Оба отличались той особой горделивой статью, какую Сильвестр не раз наблюдал у царских стрельцов. Поляки эти весьма впечатлили Сильвестра: они напомнили ему о прежних московских днях, о выездах царя Бориса, об отце, поднимающем его над толпой: «Смотри, Силенька, царь-государь кататься поехал!» Сильвестр так загляделся на поляков, что и забыл, где он находится, а потому, когда от про-

тяжного скрипа двери вздрогнул всем телом, обернулся, понял, что он не при дворе, но в поповой избе, что открывается разбухшая, непослушная дверь и в комнату неуклюже входит некто в тяжкой медвежьей шубе — то ли девка, то ли старуха, то ли тощий болезненный подросток. Все склонили головы, потом полковник выпрямился, вздёрнул руку к потолку и, притопнув сапожком, воскликнул: «Виват государь Феодор Борисович!» — «Виват!» — в голос гаркнули все, так что атаман в своём углу заворочался и горько замычал. Болезненный подросток, очевидно страдающий под неподъемной шубой, переваливаясь, проковылял к своему трону, подобрал полы, взобрался на помост и беспомощно обернулся:

— Ну что, лентяи, кто-то поможет мне эту шкуру скинуть или мне так и стоять тут до утра?.. Ведь ни сесть, ни лечь в ней нельзя... Нет, Барашек, заведи ты её у меня, нет моих сил такую тяжесть таскать, а тебе как раз впору будет... Ты мне отдай мой полушубок, в каком я прежде ходил...

— Ни, не можно! — почтительно отвечал полковник. — Тот полушубок мы спалили, ибо в нём вшей было больше, чем меху, а дыры многочисленнее, чем в решете, ежели позволите такую шутку...

— Ну так сними эту, сними! — жалобно закричал подросток и мелко запрыгал на месте.

Поляки проворно стащили с него шубу, чуть, правда, не уронив её обладателя, и миру явился юноша лет двадцати в хорошем польском кафтане — несколько великоватом, но умело подпоясанном, в чёрных хромовых сапогах, в дорогой боярской шапке, опушённой кунным мехом.

— Ффу-у! — сказал юноша, далеко вытягивая тонкие губы... — Насилу ослобонили... Ну, пан Барашек, и куды ж это мы с тобой попали? Что за весь, что за народ? Присягу будут давать, или сперва их розгами подогреешь? Сколько есть мужиков? Сколько есть корму? Доклад, пан Барашек, доклад давай! — И он нетерпеливо шлёпнул костистыми ладонями по ручкам кресла.

— Ваше царское величество! — полковник встал на одно колено и величаво повёл рукой: — Весь очень бедна, весьма недостаточна! Мужиков недрыхлых нет вовсе, — один был, но он вашим доблестным войском сокрушён при штур-

ме. Корму мало, но я велел моим поднажать, так что корм найдётся. А вот, извольте видеть, двое пленных. Нет, трое, бо один при последнем издыхании и за полноценного человека считается не может. А это вот боярин московский и особа духовная. Повержены к вашим стопам и ждут суда. Ещё осмелюсь указать: боярская дочь укрыта поселянами, но больна и умом от хворобы недостаточна. На сём доклад кончаю.

— Мужиков опять нет, — недовольно сморщил личико юноша. — Что, пане полковнику, теперь скажешь? Где народ? С кем Москву будем брать? С твоими ярыжками? Это, братка, не войско получается, а убей меня веником!

— Не благоволите беспокоиться! — весело заверил почтительный полковник. — До Москвы далеко, деревень много: со всякой бутылки по капле — хлопцу полная кружка выйдет! Я чаю к Москве десять тысяч набрать, а десять тысяч под изрядным руководством ста тысяч стоят!

— Ага, бреши, бреши... В Нижнем брехал и ныне тож... Коли нет мужиков, пусть эти, которые... пусть они в войско идут: вот тебе и капелька будет. Эй, пленных мне покажи! Я о них тебе толкую. Расспросим сейчас...

Ратники поставили связанных Сильвестра и Агафона пред светлые очи худосочного, синюшного паренька, сбившегося на краешек своего резного деревянного трона.

— Эй, как там... Из чьих будете? Говори ты, который не духовный...

Сильвестр на всякий случай поклонился. До сих пор он внимательно разглядывал названного Феодором Борисовичем и нашёл, что в нём что-то есть, — что-то, что внушало ему смутные надежды.

— Посольского приказу подъячий Сильвестр, Афанасьев сын, Рукавицын, московский обыватель! А ты, господин, кто таков? Прости, не пойму никак...

— Во, смотри-ка... Пытливый ум имеет... Вопросы задаёт... — криво, болезненно усмехнулся паренёк. — Эй, кто там... Объясните...

К Сильвестру подскочил какой-то дылда в вонючем зипуне и, причмокнув, вlepил искристую затрещину. Сильвестр отлетел к стене, ударился спиной так, что в ней что-то хрустнуло, и сполз на пол.

– Вставай! – завопил паренёк пронзительно и взбрыкнул ножками.

Сильвестра поставили на ноги, а полковник Барашек, насмешливо поклонясь ему, промолвил:

– Сие не по злобе, но токмо для памяти! Чтобы навсегда отпечатлеть пресветлый настоящий миг... И хоть ты сам должен был догадаться, но, снисходя к твоей природной тупости, поясню ныне: сей ангеловидный отрок, пред коим ты стоишь, есть законный государь московский Феодор Борисович, покойного царя Бориса первородный сын и наследник! Государь со славным войском своим следует на Москву в надежде занять престол отчий. Тебе, крючок приказный, предложено послужить государю на рати и на совете – к чему больше способностей имеешь. Отвечай, согласен ли присягнуть?

Сильвестр помотал больной, гудящей головой и из какого-то неуместного озорства заявил, усмехаясь:

– Феодор Борисович, Годунова-царя сын, убит и в могиле лежит, и сие не без моего участия совершилось. Я вместе со всеми к ихнему терему бегал, и мёртвым его видал, и кровь его на снежку сапогом ковырял, и...

И ещё раз получил Сильвестр оплеуху от вонючего зипуна, а когда тёмная туча в голове разошлась, услышал, как паренёк на троне бормочет почти смущённо:

– Ну, ты не того... Не замай московского жителя... Он тебе не босяк нижегородский, чтобы так его лупить... Вот я велю звездануть тебе пару раз... А этого не трожь... Он, поди, не знал, что убили-то вовсе не меня, да... Убили моего верного слугу Федотку... Мы с ним кафтанами поменялись, да... Меня пан полковник вытащил из терема и увёз в Нижний Новгород, где и содержал до поры до времени... Вот сестру мою, ту – да... Убили злодеи. И Федотку-стольника убили, а думали, что царевича. А я, изволь видеть, живой. Радуйся, человеце, пред царём стоишь!

По-прежнему чувствуя задорную щекотность в душе, Сильвестр сказал, кривя в усмешке саднящие, разбитые губы:

– Так неправда! Я царевича-то и прежде видал.

Что! Видал его, да! Он ростом много повыше, и лицом покруглее, и вообще не таков будет. Что! Не так? Не надуешь меня, брат! Я всю смуту в Москве обретаюсь, всех перевидал.

И выдохнул воздух, готовясь к новому злодейскому тычку. Но никто не пошевелился. Паренёк же забеспокоился, заёрзал на кресле, что-то быстро и невнятно бормотнул себе под нос. Потом вскочил на ноги, мелкими шажками сбежал с помоста и почти упал Сильвестру на грудь:

– Ты, братка, не то, не то говоришь... Ты не так царевича помнишь... Он, верно, – он был повыше да покруглее, – это правда... Я, братка, знаешь каким был? Одной рукой пять пудов подымал играючи! Да! Жизнь проклятая, смута окаянная, всё она виновата! А ты думаешь, легко, да? – когда на твоих почитай глазах сестру родимую зарежут и возлюбленного моего слугу Федотку? А? Подумал ты? С такой жизни похудаешь, братка! А как я в Нижнем жил? Как псина бездомная!.. Это тебе что – пустое, да? Как я хлеб плесневелый жрал? Как спал в коровнике? А? Тебе вот случалось ли в коровнике спать? Рожа-то гладкая, – вижу, что не приходилось. У меня-то, небось, ещё поглаже твоего была рожа, когда у батюшки, у государя в терему жил... Ты, как тебя, Сильвестр Афанасьич, не говори так, а лучше посмотри получше: ведь я же это? Да? Я? Я – царь московский, Феодор Борисович! Признал ли?

Сильвестр подумал, решил, что прозвучавшие объяснения достаточно убедительны, что в случае чего ими вполне можно успокоить собственную совесть, а лучшего поворота событий всё равно ждать не приходится, и громко сказал:

– Ох, признал! Признал, государь! Прости окаянного холопа! – и хотел рухнуть в ноги, но паренёк удержал его:

– Вот славно! Вот как славно! Прощаю. Прощаю и милость свою царскую тебе сейчас явлю. Весь сия – твоя вотчина, что ли?

– Нет, государь, случаем сюда забрёл.

– Так я тебе её и жалую. Будь ты дворянин!.. Нет, будь ты боярин и... В каком, говоришь, приказе служил? В Посольском? Твой отныне приказ: распоряжайся в нём на благо царёво... А этот, с тобой – это кто?

— Послушник монастырский, Агафон.  
 — Встань, раб божий Агафон. Ты признал ли меня? Говори!  
 — Так я... — Агафон повёл толстым носом, — я ж и в Москве-то не был никогда... Я из Новгорода...  
 — Из Нижнего? — быстро спросил паренёк.  
 — Из Великого...  
 — А в Нижнем не бывал?  
 — Не случилось...  
 — Так ты и меня прежде не видал?  
 — Откуда же...  
 — Признаёшь меня? Служить мне будешь?  
 — Мы Господу Богу служим...  
 — Ага, Богу! А меня царём признаёшь?  
 — Да что ж... Коли патриарх благословит...  
 — А как же! А как же! Как не благословит-то, что ж ты говоришь-то мне, брате послушнике! Да ведь нет сейчас патриарха, вот беда-то... А ну как я возьму да царской своей властью тебя патриархом сделаю? Что скажешь?  
 — О том рано говорить... А признать... Коли Сильвестр Афанасьевич признал, так и я туда же...  
 — Да! Да, братки! Конечно, надо меня признать: куда вам деваться-то ещё! А уж я вас не забуду, когда на Москве сяду. Идёте со мной на Москву? Идёте? Вот и славно, вот хорошо как... Всё-таки, пане полковнику, два мужичка... Два мужа! Это ведь уже прибавка к войску! Да какая! Что ты! Что ты! Славная прибавка!  
 — А ещё один в сенях лежит, от ран отдыхает! — улыбаясь, прибавил полковник. — Как прочухается, тоже к нам зачислим. Этот целой сотни стоит, с ним одним можно Москву брать!  
 Феодора Борисовича зацепили эти слова. Он тут же сбежал в сени, долго разглядывал лежащего в углу, накрепко связанного атамана, чуть живого, но не потерявшего сознания. Разглядев его как следует, Феодор вернулся в горницу.  
 — Верно... Экая падина... Быки такие бывали у нас, в Нижнем... Здоровущий, глаза — вот этаки!.. И рычит себе под нос... Он жив-то останется, как ты считаешь, пане?  
 — Непременно останется, ваше пресветлое величество!  
 — Это славно... Да, с таким можно Москву брать... А? Как тебя, Силюян... Си... Сильвестр? А? Можно?

— Можно, ваше величество, — подпел полковнику Сильвестр Афанасьевич.  
 — А я спать хочу! — взвизгнул вдруг Феодор. — Шли, шли... Трое суток ведь шли без отдыха!.. Полковник, ты мне постель приготовил? Опять клопов царской кровью кормить будешь? А? Как в той деревне — как её?..  
 — Клопов у нас нет! Почивайте мирно, царь-государь! — Сильвестр сделал шаг вперёд и поклонился.  
 — Во! Видал! Врёт и глазом не моргнёт! — возмутился Феодор. — Клопов, говорит, нет! Как сие возможно? Не-ет! Не бывает!.. Да я и спать не стану без клопов! Меня и сон не возьмёт! Ну, ладно уж, давай без клопов! Давай. Только быстрее. Спать шибко охота!  
 Всю ночь Феодорова стража разноголосо храпела в сенях у Манешки, а наутро Феодор Борисович и полковник решили приводить деревню к присяге. «Всё, как и прежде, учините!» — строго сказал пан Барашек своему воинству, и дражные, чёрные от мороза, замордованно поглядывающие злыми глазищами мужики начали бегать по избам и гнать на мороз перепуганных старушек. Сильвестр заметил, что на каждом из мужиков-ратников было что-то польское: то ли расшитые позументом шаровары, то ли шапка с пером, то ли щегольские красные сапожки, впрочем, уже просящие каши.  
 — Ну как, Афанасьич, жизнь боярская? — спросил, зевая, Агафон. — Сладка тебе новая доля? Ты зачем этого бедолагу царём признал?  
 — А что ж? — раздумчиво ответил Сильвестр. — Чем не царь? Уж верно не хуже Димитрия-царевича болящего... Отмоется, отъестся и станет царь не хуже прочих. Выбор-то у нас с тобой невелик: или нас эти мазурики саблями порубают, или — изволь признавай... А потом... Есть у меня мысль заветная: знаешь, как только нелёгкая не выносит!.. А что как дойдём до Москвы? Обрастём по дороге народишком — и дойдём. А как народцем обрастём, так, может, и Москву возьмём? А? А не возьмём — всё одно... Хуже не будет — ни нам, ни Москве.  
 — А коли возьмём, так ты у нас сразу первым царёвым человеком сделаешься... Наиважнейшим боярином на Руси...  
 — Ты зубы-то не скаль, послушник заболот-

ный! Ты в таком случае сразу в патриархи у нас угодишь!

— Эх, добрые речи!.. Когда бы так... А что, из меня, думаешь, плохой патриарх выйдет? Ого!.. Я всем шороху задам! Они у меня все преподобием облекутся! И будем мы с тобой на пару Русью володеть...

Всех старух мужики выволокли на улицы и согнали к воротам; здесь поляки выстроили их в шеренгу. Утро было весьма морозным, старушки жалобно кряхтели, ратники размахисто хлопали себя по плечам, Агафон мелко скакал на месте, только полковника, казалось, не берёт мороз, он как ни в чём не бывало расхаживал, распахнув доломан, сбив на затылок потешную свою шапочку, и только красный нос его с каждой минутой светил всё жарче и жарче, скоро приближаясь к тому опасному цвету, при котором растирать его будет уже бесполезно.

— Ну, начинай, — сказал, выглядывая из-за двери на крыльцо, Феодор.

— Без вас, государь? — слегка вздёрнул брови полковник.

— Да без меня, без меня! Охота была на морозе дрыгнуть!.. Потом я выйду... Потом... Дам кое-кому к ручке приложиться, и хватит с них! — и с этими словами скрылся в избе.

— Ну, так начнём! — Полковник хлопнул в ладоши. — Эй, бабы, и вы, честные господа! Весь вашу почтил своим прибытием государь всея Руси, царь великий, державный Феодор Борисович! Сей день вы должны вписать в свою память как некий священный манускрипт! А чтобы лишнего не болтать и нам тут всем не мёрзнуть, присягайте государю на верность и тащите все, у кого что есть съестного: Феодор Борисович пировать желают! А присягать очень просто: сейчас наш новый епископ Агапий... нет... Агафон... вынесет крест, вы сей крест поцелуете, вот вам и присяга!

Агафон, которого сильно покорило, когда его назвали епископом, сбегал в избу, принёс свой старинный деревянный крест, и бабки, подталкиваемые разбойниками, потянулись к нему, скорбно охая.

В недолгом времени по присяге уселись за стол. Поляки с саблями взяли Феодора Бори-

совича под руки и почти по воздуху донесли до положенного ему кресла.

По правую руку от него сели полковник и Сильвестр, по левую послушник и бабка Манешка. Больше ни для кого места за столом не нашлось. Расставили кружки, вытряхнули из мешков сухари, кто-то из ратников принёс горшок ухи из наловленной утром рыбки.

— Благослови, отче! — строго повелел Феодор Борисович послушнику. Агафон важно поднялся с места и протяжно затынул «Отче наш». Полковник меж тем разливал брагу по глиняным кружкам.

Выпили за здоровье государя. Сам Феодорпил с большой опаской: хлебнул через силу два раза и, гадливо содрогаясь, отставил кружку в сторону.

— Не приучен у батюшки, — пояснил он смущённо. — У батюшки-царя. У нас строго было. Вино — по великим праздникам, а этой отравы — ни-ни!

— А где ж теперь твой батюшка? — забывшись, спросил Агафон, но полковник через стол треснул его по макушке двумя пальцами, и послушник быстро поправился: — Я хочу сказать: где похоронили-то государя? Я что-то не слышал доселе...

— Да где ж... — запечалился Феодор. — Как сестру мою, Ксению, порубили сабельками, так его из могилки-то вытряхнули, в пушку зарядили и пальнули... Вот и всё тут.

Сильвестру очень хотелось созорничать и рассказать о том, что царь Борис по-прежнему почивает в своей царской, кремлёвской могиле, а из пушки палили не Годуновым, а Отрепьевым... Он даже язык прикусил, чтобы не давать ему волю, а вместо этого спросил:

— Вы, пане полковнику, из поляков будете, или как?

— Всяк! — отвечал Барашек, прихлёбывая горячую ущицу. — Всяко буду. И поляки есть в моём роду... И татары... И русские, понятно...

— И греки, наверное?.. — усмехнулся Агафон.

— Всенепременно! Без греков как же? Родная моя бабушка, моего отца матушка, была гречанкой наполовину. А на вторую половину — из угорских земель...

— А почему же вы одеваетесь по-польски?

— Так я у поляков в службе был... Да, был... И у



греков тоже служил... по торговой части... И где я только не вертелся...

— А что за прозвище у вас? Барашек... И не по-польски, и не по-гречески... И русских людей так не величают... Угорское, что ли, прозвание? Или хохлацкое?

— Так меня государь наш прозвал, — хмурясь, заметил полковник. — А для меня всё, что только ни исходит от государя, всё суть честь и приятная радость. Барашек, стало быть, Барашек! Это потому что у меня волосы курчавятся слегка. Когда государь так впервые меня назвать соизволил, я подумал себе: буду, значит, навеки Барашком — имя не хуже прочих, а коли государем дадено, так оно мне заместо княжеского звания будет!..

— Это — ладно... — продолжал расспросы Сильвестр. — А вот как вы намерены Москву воевать? У вас задумка какая имеется?

— Задумка... — полковник вытер мокрые усы. — Задумка есть. Только о ней болтать не след. Подслушают, передадут... Всё насмарку пойдёт. А так-то скажу: надо вперёд конницу пустить...

— Эге! — рассмеялся Агафон. — Где ж ты конницу возьмёшь?

— Возьму. Не беспокойтесь, уважаемый, возьму. До Москвы ещё сколько вёрст? А? Сколько у нас на пути деревень? Сколько в деревнях лошадей?

— Ни одной, — ответила Манешка. — Мы уж и забыли, какие лошади бывают: с крыльями или в чешуе...

— Ты врёшь, бабка! — спокойно возразил полковник. — Лошади непременно будут!

— А мне Кузька из Нижнего говорит... — неожиданно вмешался Феодор Борисович, — Кузька-злодей... Иди, говорит, с моим ополчением... Хе!.. Ты, говорит, в одиночку и двух вёрст не перейдёшь, ножки подломятся... А вот не подломились! Кузька-злодей ополчение из мужиков собирает... А у меня паны да бояре в войске! Чья возьмёт? Ну?

— Один высокородный боярин в бою целого полка мужиков стоит! — кивнул полковник. — Выпьём за нашего боярина Сильвестра Афанасьевича!

— Кузька-злодей мне говорит: «Мы тебя, Федюша, в обозе устроим, с голоду не пом-

решь!» Это он царю такие речи загибает! — Феодор Борисович пристукнул по столу махоньким, чёрным от цыпок кулачком, на котором ярко белели под натянутой кожей все до одного суставчики.

— Кто этот Кузька? — любопытствовал Агафон.

— Да так, в Нижнем один... Из купцов, — пренебрежительно махнул пальцем полковник. — Что о нём говорить? Есть ли в том какой прок? Грязная мужицкая рожа — не более того. С такой харей царства не спасают. Чтобы войти в Москву, нужно быть особой царской крови... Пред такой особой народ преклонится сразу. Москва — царский город, город истинного Царя! Я-то знаю русский народ, мнесто можете не говорить...

— Здравствуй, Силюшка милый! — зазвенело вдруг над ухом у Сильвестра. Он обернулся и увидел Нюру, слегка всклокоченную и чумазую (ибо Манефа прятала её от разбойников в чулане), но сияющую от счастья и любви. Сильвестр поперхнулся сухарём.

— Здра... Здравствуй, Нюра. Шла бы ты отсюда... Здесь тебе нельзя быть.

— Это кто? Это кто? — вытаращил глаза Феодор.

— Это так... Болящая... Глупая девчонка... Только её обижать нельзя: она боярская дочка! Боярина московского Красногорского Нестора Кириллыча... Не помните такого? За неё заступятся, если что!

— Нестора Кирилловича я помню, — медленно произнёс Феодор. — Мне ли не помнить Нестора Кирилловича... И дочку его... Эту... помню очень хорошо... Она тогда поменьше была... И не так хороша...

— Да она и сейчас не хороша! — заторопился Сильвестр. — Вот перепачкалась вся, — видали? Говорит непотребное... Больная совсем, глупая, на головку хромает...

— А на что девке голова? — усмехнулся полковник. — Девке совсем иное требуется...

— Не девка, Барашек, а боярышня, — строго поправил его Феодор. — Но ты прав, ты прав... Голова ни к чему... Главное, что она... это... как цветочек золотенький... Силантий, нет, Сильвестр! — у меня всё сердце захолонуло! Точно, я её

вспомнил, я же с ней у батюшки еённого, как его... Кирилла Мефодьевича... да, играл с ней, дитятей будучи... А теперь вот она какая!

Нюра улыбалась от всей души и размазывала ладошкой сажу под глазом.

— Полковник! А ведь мне же всё равно жениться придётся! А? Полковник? Что скажешь?

— Всенепременно! — важно кивнул Барашек. — Но только...

— Что — только, Барашек, что — только? Я и хочу жениться! И сейчас же! И вот на этой! А как её зовут-то? — я не спросил...

— Зовут Нюрой, то есть Анной Несторовной, но жениться вам на ней нельзя, государь, потому что она умом нездорова, — сказал Сильвестр, стараясь говорить как можно спокойнее.

— Да что мне в её уме! — взбрыкнул ногами Феодор. — Жена не должна быть умнее мужа, вот! Мне тятенька всегда так говорил... Скажи, полковник, можно ведь мне жениться?

Полковник надолго задумался. Он вертел ус, что-то беззвучно шептал под свой чудом не отмерзший нос, глубокомысленно шевелил пальцами и наконец строго спросил у Сильвестра:

— А она точно боярская дочь? В самом деле? Боярина... как его?

— Нестора Кирилловича Красногорского.

— И этот боярин — он что? Родовитый?

— Весьма.

— И, наверное, Рюрикова рода?

— Вот не знаю.

— Но может быть и такое? Может он быть и Рюриковичем?

— Да может, ясно...

— Ну, так я скажу: женись, государь! Это будет верно и хорошо! Как раз того-то нам и не хватало, чтобы на дочке Рюриковичей... Так! Так! Оно ещё внушительней получится! Истинно, государь, женись!

Феодор широко раскрыл рот:

— Можно, да? Прямо сейчас? А... это... как... Фу... Даже в пот бросило! А что! И женюсь!

— У нас и епископ есть! Обвенчает тут же! — полковник ткнул пальцем в Агафона. Послушник гадливо поёжился, но спорить не стал.

— Ну, братки! — протянул обалдевший от счастья Феодор. — Буду с царицей... С боя-

рышней! Каков! Дело-то и впрямь к царству идёт! Ха! Ну, теперь держись! Я тебе не Кузька с Нижнего! У него-то, поди, жены-боярышни нет! Давай, давай! Жениться, жениться!

— Неплохо бы у невесты согласия спросить, — угрюмо заметил Агафон.

— Верно, верно... Эй, как тебя... Боярышня! Ты это... ты того... ты... Как сказать-то?.. Ну, полковник, что-то у меня язык даже заплетается... Скажи ты! Сватом моим будешь, правильно?.. Скажи!

— Боярышня! — полковник встал из-за стола.

— Анна Несторовна! Пресветлая и благородная девица! Ты хочешь замуж?

— Ясно, хочу! — обиженно выкрикнула Нюра, слизывая сажу с рук.

— Ну вот и всё! — полковник развёл руками. — Вот и всё сватовство. Можно прямо начинать венчание!

— Как же? — Сильвестр побледнел. — А... А ведь... А ведь у батюшки её не спросили! У Нестора Кирилловича! Как же без разрешения?

— Ты глупости не говори, боярин! — строго дёрнул бровями полковник. — Неужто её отец против царской воли пойдёт! Ему такая великая честь, а он, значит, противиться станет? Смешно. Завтра свадьба.

— А как... Не сегодня разве? — удивился Феодор.

— Подготовиться надо.

— Я и так готов!

— Нет, государь. Дело без пождания не бывает. Пусть невеста подготовится.

— Да и мне кое-что подготовить надо... — заявил Агафон и вышел из-за стола.

Вечером Агафон сидел в своей каморке у чулана и, опустив свой толстый нос, вышивал кресты на самодельной епитрахили. К нему забрёл унылый Сильвестр.

— Что, брате... Ах, прости! — владыко! — что изволите починять? Портянки свои штопаете? Ах, вышиваете!.. Оно понятно: у епископа и на портянках должна вышивка быть!.. Ах, епитрахиль!.. Поди, Манешка от подола своего полосу оторвала ради такого случая? Так ты ж теперь у нас епископ, тебе не епитрахиль, тебе митру надо! Горшки вон стоят: разукрась белилами, узоры наведи — и на голову! Что ж ты, охальник, дела-

ешь-то?.. Куда ж ты, послушник непослушливый, лезешь? Ты суда-то Божия не боишься уже?

— А сам-то давно боярином заделался? — тихо огрызнулся Агафон, не отрываясь от работы.

— Боярином назваться — не грех, особенно если ради сохранения живота сие делается! А уж коли послушник епископом величается!.. Тут уж — прошу прощения!

— Отстань... — дернул плечом Агафон. — Что ты понимаешь? Православие гибнет... Латыньство наступает... Кто-то должен Церковь спасти? А может, на меня Господь указывает... Почём я знаю... Потом спросится с меня: тебе, мол, Агафоне, выпал случай спасти Мою Церковь, а ты ушами хлопал, послушание соблюдал... Кому послушничал-то? — вот и выбирай теперь местечко на горячей сковородке!

— И я о том же! — горько вздохнул Сильвестр, и бледные усы его встопорщились. — Видим ведь, что мазурики — сущие мазурики! А других-то нет! Надо брать что дают.

— Брать... А невесту отдаёшь... Кому отдаёшь-то? Ты подумай только!.. Экая поганка бледная!.. Туда же — на царство!.. Гришка Отрепьев таким же был?

— Гришка? Ну нет! Гришка был — орёл! Ух! До последнего я ему верил... А Нюра мне — какая невеста? Куды я со свиным рылом в боярскую опочивальню... А коли наш сморчок и впрямь в цари выбьётся, так она ему самая подходящая царица будет.

— Ну, подьячий, как знаешь...

Венчание началось ранним утром, когда ещё не развиднелось. Привели Нюру, чисто вымытую, в белом нарядном крестьянском сарафане. Боярышня отчего-то хмурилась. Поляки привели Феодора, одетого в какую-то тяжёлую грязную мантию, сшитую, видимо, из затоптанного персидского ковра. Феодор был понур, испуган: в последний миг он пожалел о своём решении и теперь тоскливо мечтал сыграть всё назад.

Со всех изб натащили икон, устроили в горнице подобие иконостаса, зажгли не меньше сотни лучин и десяток найдённых в поповых закромах сальных свечей. Пригласили десяток разбойников, двое молчаливых поляков как обычно встали возле дверей с обнажёнными саблями.

Агафон накинул на плечи самозванную

епитрахиль, поднял деревянный крест, прокашлялся и начал:

— *Во имя Отца... И Сына...*

Нюра, брезгливо щурясь и кривя губы, озиравшись по сторонам. Феодор стоял, покорно сутулясь, пустыми глазами уставясь на иконостас.

— А где Силька-то? — громко спросила вдруг Нюра. Феодор молча дёрнул её за рукав.

— Ты не дёргай тут, не дёргай! — возмущённо заголосила боярышня. — Чего встал? Я пошла Сильку искать, суженого моего!

И, развернувшись круто, двинула вон из избы. Сильвестр спрятался за спины ратников, чтобы не попасться ей на глаза. Агафон, замерев на полуслове, растерянно захлопал глазами. Полковник ухватил Нюру за плечо и круто развернул прочь от дверей:

— Вот это твой суженый, боярыня! Ты не там его ищешь!

— Этот? — от души удивилась Нюра и даже руками развела.

— Так, так! — подтвердил полковник. — Это он. Государь всея Руси Феодор Борисович.

— Это я!.. — робко сказал Феодор, обороты к невесте.

— Ты не Силька! — в голос заорала Нюра. — Убирайся с глаз моих! Эй, кто там!.. Чего он в мой терем лезет? Тятенька! Маменька! Хевронья! Парамошка! Куда вы меня привели?

— Тихо, тихо! — важно произнёс полковник, шевеля бровями. — Зачем шуметь? Ты царицей станешь, а шуметь не надо! Ты хочешь быть царицей, боярышня?

— Пошёл вон! — взревела Нюра и ударила полковника кулаком по носу. Барашек ошалел от боли и некоторое время ловил ртом воздух, нелепо улыбаясь; по усам его быстро бежали густые тёмные струйки крови. Он попытался утереться рукавом красивого доломана, но ничего из этого не вышло. Было видно, что ему очень хочется ответить на этот удар, но поднимать руку на будущую царицу было боязно.

— Эй, люди!.. — бормотал он невнятно. — Сделайте же что-нибудь... Эй, святой отец! Объясни же боярышне, что здесь происходит.

— Нет, — сказал Агафон, тяжело вздохнув и снимая с плеч самодельную епитрахиль. — Не буду больше. Этак я тут до анафемы с вами до-

венчаюсь. Венчай, пан, сам, если тебе нужно, а меня отпусти с Богом.

— Ну и не надо, — захлёбываясь кровью, пробублькала полковник. — Не бывать тебе патриархом!

— О сём и ликует душа моя! — смиренно ответствовал послушник и спрятался в уголок, поближе к Сильвестру Афанасьевичу.

— Не извольте прогневаться, ваше величество, — полковник, роняя крупные вишнёвые капли из носа, поклонился обалделому Феодору. — Мы потом венчание сыграем, в Москве, а сейчас...

— Не хочу в Москве! — вдруг завопил Феодор и затопал ногами, словно заплясал трепака. Невестин бунт раззадорил его, и теперь ему снова очень захотелось жениться. — Сейчас давай! Ищи где хочешь попа! Ищи немедленно! Я жениться буду! Сейчас! Мне сейчас царица нужна, а не в Москве! Где она, твоя Москва? А царица — вот, здесь, красивая! Где я ещё такую сыщу? Анна Несторовна, синичка моя, соизвольте стать царицею!.. — и он ухватил Нюру за рукав.

— Силюшка! — жалобно заголосила Нюра. — Где ты, родненький? Меня увести хотят!

Сильвестр Афанасьевич так стиснул зубами кончик уса, что откусил его совсем. Агафон ткнул его в бок локтем:

— Давай, подъячий, не зевай! Твою же невесту уводят!

— Нет... Нет... — бормотал Сильвестр Афанасьевич, — я же не хотел на ней... и мы не равня... и головка у ней больная... и мы же договорились с полковником...

— Не дури, Афанасьич! Девка как по тебе шита! Хватай её, да пойдём на Москву!

— Какую Москву? Где Москва?.. Брате, ты что несёшь?..

— Сильвестр Афанасьевич! — надрывалась Нюра...

— Ко мне иди! — рычал Феодор, дёргая её за рукав.

— К тебе, холоп? Да я тебя!..

Сильвестру показалось, что у Нюры волосы встали дыбом, наподобие львиной гривы. Ухватив колун, стоявший возле печки, она замахнулась на своего царственного жениха:

— Поберегись! Зашибу!

Полковник подскочил сзади и хотел выдернуть колун из девичьих рук, но Нюра махом развернулась, и тяжкий ржавый обух просвистел у самого кончика окровавленного панского носа.

— Пшш!!! — фыркнул полковник, уворачиваясь. — Ребятки, отберите-ка у неё оружие!

Ребятки дружно бросились на боярышню, но та, расходившись, махала обухом направо и налево; казалось, что колун вот-вот вырвется из её рук и уж тогда кому-то не поздоровится. Мужики разлетелись по углам, как мухи от мухобойки, и замерли, не желая связываться с царской невестой.

— Ан-н-на Несторовна! — тонко тянул Феодор. — Опамятуйся! Ты же моя всё-таки!

— Сильвестр Афанасьевич! — взвыла ещё раз Нюра, и тут обозлённый Агафон с силой вытолкнул Сильвестра на середину горницы:

— Вот он! Держи своего жениха!

Наперерез Сильвестру выбежал полковник и, растопырив руки в широких рукавах, загородил подъячего от Нюры:

— Никак не можно! Сей жених неверный!

Нюра в последний раз взмахнула колуном, и уже не вхолостую: ржавый обух веско впечатался полковнику в висок. Не издав ни звука, пан Барашек свалился на пол, мягко, словно куль зерна; Нюра, равнодушно переступив через его тело, всхлипнула и упала на грудь белому от ужаса Сильвестру.

Все долго-долго молчали. Поляки напряжённо размышляли, гадая, что им теперь предпринять; Агафон медленно, задумчиво, безостановочно крестился. Феодор нерешительно подошёл к Нюре и тихонько потыкал её пальцем в спину:

— Ты, Нюрочка... Всё уже... Бросай эту дурь... Давай жениться будем...

Нюра не пошевелилась. Сильвестр Афанасьевич взгляделся в её лицо, и у него шапка подпрыгнула на голове: боярышня крепко, безмятежно спала, спала так, что рухни всё вокруг — не проснётся, не пошевелится, не разомкнёт сонным мёдом склеенные веки. Пальцы её всё ещё цепко сжимали Сильвестровы плечи, но ноги уже начали подкашиваться, и тело медленно, плавно оседало на пол. Видимо, когда-то сбитая с толку ду-

ша её напрочь забыла, как нужно отзываться на всё происходящее: и любовь, и страх, и сон — всё она посылала Нюре невовремя, невпопад. Сильвестр подхватил падающую Нюру и прижал, словно ребёнка, словно любимую свою младшую сестру, к груди. Феодор строго нахмурился:

— Ты... Этак-то нельзя!.. Это царёва невеста, ты её трогать бойся!.. А не то я тебя прикажу...

Тут Агафон решительно взял Феодора за плечи, встряхнул слегка и мягко произнёс:

— Ты вот что, мил человек... Ты иди-ка отсюда, не мешай людям! Без тебя разберутся. Ты на Москву шёл? Вот и иди, ясна душа! Иди-иди и людей своих забирай! Чтоб я тебя здесь больше не видел. Вот тебе харчей на дорожку...

Он сгрёб со стола сухари, остатки рыбы, увязал всё это в дерюжный узелок и вручил неудачному жениху.

— Хватит на первое время? А там люди ещё подадут. Попросишь Христа ради — непременно подадут, не пропадёшь! Иди, братец!

— Эй, ребята!.. — горестно прошептал Феодор, обращаясь к полякам. — Вы что ж смотрите? Царя ведь обижают...

Поляки сидели на лавке, прятали глаза и многозначительно молчали.

— Молчите, да?.. — шептал Феодор. — Ну ладно, ну понятно... Да, всё понятно... Пора, стало быть, восвояси... Эх, пане, пане, где ж ты теперь... сгоношил меня, а сам... Ну, так я пойду, православные... Ежели кого обидел, так ладно уж...

Никто ему не отвечал. Все смотрели в пол. Он медленно ткнул в дверь, всё ещё надеясь, что сейчас кто-то его остановит, и, не дождавшись, вышел в сени.

В сенях остановился, похлопал глазами в темноте и услышал, что рядом кто-то ворочается, сопит, скребёт каблуками пол...

— Это кто здесь? Ты, казак?

— Я! — прорычал атаман: за двое суток он отлежался, пришёл в себя и теперь чувствовал, что пришло время освободиться от пут.

— А меня, казак, обидели... Выгнали вон... Пойду теперь побираться...

— Кто обидел? — атаман плохо понимал, что произошло в деревне, и вовсе не знал, кто с ним говорит.

Обломком атаманской сабли, валявшимся в углу, Феодор начал пилить заледенелые верёвки, опутавшие Филиппа Филиппыча, и при том бормотал безостановочно:

— Там поляки и эти... которые... выгнали меня... а я же царь... как же... мне в Москву надо... я царём очень хочу быть, понимаешь, Филипп Филиппыч?.. ты их того... приструни... они же как тебя увидят, так сразу присмирят, верно, да?.. они же тебя бояться все... а я тебя воеводой сделаю, ей-ей!.. а что, кого же ещё и воеводой делать, как не тебя... не поляка ведь... опять же убили его, полковника моего... Нюрка топором по башке... и дух вон... а я на ней жениться хотел... на дуре-то... вот смех-то где, Филипп Филиппыч, правда... вот, последняя верёвочка... сейчас разрежем... ты, Филиппыч, покажи им, а уж за мной не пропадёт... вот... вставай...

Атаман ещё некоторое время лежал не шевелясь, только глазами вращал грозно и внушительно, потом с тяжёлым мычанием начал отрывать спину от пола, сел, пошевелил бровями, попытался подняться на ноги, упал, ещё раз попытался, опять грузно сел, на третий раз удалось... Он стоял, качаясь, держась за стену и дико уставясь в пространство, что-то рычал, и сипел, и булькал, потом оторвался от стены, сделал три неуверенных шага и вновь ухватился рукой за косяк.

— Ну, пойдём, Филя, пойдём... — торопил Феодор. — Они там небось решают, как нас с тобой извести, а мы тут на них... хе-хе!! словно колуном по башке...

Атаман сделал ещё один шаг и размашисто покачал головой:

— Нне-е... не пойду!.. не боец я ныне... едва ноги держат... не... мне их не одолеть...

— Так ведь поляки же, Филя!.. ты подумай... поляки... а ты всё-таки казак... или ты их, или они тебя... сейчас выскочат с сабельками...

— Да... выскочат... Надо дёру давать!.. Слышь, ты... бежать надо... что мы сейчас против них?

— Филя, а Москва как же?

— Ну, Москва... Давай... Пойдём на Москву... Только отсидимся немного — до лета, ага? А потом в Москву. Или, хочешь, на Дон? Я на Дон хочу.

— Будет тебе Дон, конечно, а как же... Толь-

ко сперва Москва... как полковник-то говорил: от деревни к деревне, здесь десять человек прихватим, там пять... пока до Кремля дойдём — тысячное войско будет! Ого, Филя!.. Я же царь всё-таки, это же понимать надо... Это тебе не Кузька, не купчишка из Нижнего... Что он сможет? А мы с тобой...

— Отсидеться надо, добрый человек... слаб я ещё... в девяти местах меня продырявили... и то... другой бы давно уж... а я ничего... дышу...

— Это, Филя, всё поляки. Это полковник, пан Барашек, и поляки его, это всё они... а мы с тобой другое войско наберём, русское, православное... Ну как?.. Будешь со мной?

— Ты, добрый человек, ножками-то не сучи... Тебе говорят — слаб я ещё, отсидеться надо... Пойдём-ка мы в соседнюю деревню, в Чёрный Двор... Попросимся там на постой... До лета время скоротаем, а потом — на Дон!

— Ну... — Феодор немного сник. — Ну, в Чёрный Двор так в Чёрный Двор. Ты дорогу знаешь?

— Знаю.

— Ну, так поплетёмся потихонечку! Ты на меня обопрись... вот так... и пошли... раз-два... раз-два... идёшь, голубчик!.. в Чёрный Двор так в Чёрный Двор... не здесь же оставаться... ещё врежут колуном... Нюрка-дурка... я жениться хотел, а она колуном... эх, талан мой подзаборный... раз в жизни захочешь царём стать, так и то...

Они спустились с крыльца, вышли за ворота и пошли по заметённому большаку — медленно, тяжёлой раскачкой, то и дело падая, с трудом поднимаясь, цепляясь друг за друга... Валил тяжёлый, мокрый мартовский снег, и вскоре его плотная пелена скрыла с глаз, завалила следы и Феодора, и Филиппа Филипповича. Больше их в селе Собачьем никто уже не видел.

А в доме у Манешки поляки вынесли тело полковника в сени, положили туда, где только что лежал атаман, и вернулись в избу. Там витийствовал послушник Агафон.

— Что, братие? Не утомились ли вы, разбойничая? Не устали ли ваши ручки сабельками махать? Не стоптали ль вы ножки по самое довольно? Вы вокруг-то оглянитесь: куда вас Бог занёс? Где ваши дома, где ваши жёны?

— Какие там дома, какие жёны? — говорили му-

жики в ответ. — В наших деревнях ныне только волки живут, к нашим жёнам медведи посватались! Вот — бродим по свету, разбойничаем, пропитания ради. Феодор-то Борисович — он хороший человек был, на Москву нас звал, московской жизни сулил... А сейчас, конечно... Сейчас Феодор Дмитриевич вовсе бесполезным стал... Что ты-то нам скажешь, брате?

— И скажу! Куда вас бог занёс? В село Собачье! Что за село такое? Скажу: ничем оно других сёл не хуже. Избы — почти все целы, земли — сколько хочешь, лес — пребогатый, озеро — что тебе море-океан! С голоду не пропадёшь, нет! Вот, правда, до осени дожить как-то надо, а хлеба-то нет... Ну, да и это не беда: в озере рыбка, в лесу птичка: как-нибудь время скоротаете, а там, глядишь... В соседнем селе, в Чёрном Дворе, говорят, девки ещё остались... Ну, и вдовы всякие... Переженитесь — совсем как новые станете! И к панам полякам то же относится: что вам по свету шариться, живите как русские люди!

— Красно говоришь, брате! — засомневались мужики. — Да как бы оно другим боком не вылезло! Вот поселимся мы тут, в селе Собачьем, а на нас кто-то набезит... такие же, как мы, люди... или ещё кто... Вот барина бы нам! С барином-то всё ловчее: мы, стало быть, не просто шатуны, а барские мужички, — с нас и спрос иной...

— И это дело не застоится! Барин — вот он!

И Агафон толстым своим пальцем ткнул туда, где сидел на корточках возле полатей Сильвестр Афанасьевич Рукавицын, сидел и смотрел неотрывно на спящую Анну Несторовну Красногорскую. Ему почему-то казалось, что болезнь Нюрина миновала, что, ударив полковника по голове, Нюра из собственной головы вышибла дурь, что теперь она вновь посмотрит на мир глазами светлыми и здоровыми. В этом Сильвестр несколько не сомневался, вот только боялся он одного: что, проснувшись, Нюра его не узнает и вся её болтовня о любви, о венчании и всяком таком прочем уйдёт вместе с болезнью.

Почувствовав, что все на него смотрят, Сильвестр выпрямился и вопросительно глянул на Агафона. Тот досадливо нахмурился:

— Спрашивают тебя! Отвечай!

— Чего? О чём?

— Чего-чего... Барином будешь?

— Барином? Где? Здесь? Ага. Буду. Почему же нет, мне здесь нравится.

— Ну вот, мужики, и решилось дело: тут вам и барин, тут и барыня! Кланяйтесь Сильвестру Афанасьевичу и целуйте крест. Я тоже у вас живу пока, а потом, летом... Эх... Вернусь в свой монастырь... Кто-нибудь из наших, поди, остался в живых... Кого-нибудь найду... Может, даже пострижение приму... А то ещё вот как: пойду в Москву, приму постриг — и к вам! Попом у вас буду! То-то заживём! Заживём, ребяташки! Глядишь, и в Москве дело наладится: чего в жизни не бывает? Ты, Афанасьич, как думаешь?

Но Афанасьич не слышал его: Нюра проснулась. Она раскрыла глаза — светлые, здоровые — и сказала:

— Силюшка! Слава Богу: кажется, голова у меня не болит больше! Силюшка, я соскучилась по тебе!

Прошло много лет. Как-то в Свято-Григорьевский Черноболотный монастырь приехал из дальних краёв молодой помещик Василий Рукавицын, привёз в обитель богатый вклад и попросил разрешения свидеться с настоятелем. В первый день его к настоятелю не допустили, и лишь через двое суток в избу, где жили богомольцы, зашёл высокий лысый монах:

— Где тут обретается раб Божий Василий, барин Рукавицын! Отец Капитон благословляет.

Василий поспешил через монастырский двор в настоятельскую келью. Был Василий очень похож на своего отца Сильвестра — такой же невысокий ростом, такой же белесый волосом, но только в плечах пошире, лицом покруглее и в движениях поуверенней. Игумен Капитон сидел в своей келье один на высоком кресле посреди горницы. Был он важен, суров и мудр. Непомерно толстый его нос придавал ему значительности и внушал богомольцам почтение. Благословив юношу, он вновь уселся на своё кресло и замолчал. Василий замаялся, засмутился и насилу начал разговор:

— Отче! Помнишь ли село Собачье? Помнишь ли Сильвестра Рукавицына? Я сын его меньшей.

— Помню, — отвечал игумен Капитон. Васи-

лий долго ждал продолжения беседы, не дождался и решил, что пора откланяться.

— Ну так, отче... Тятенька поклоны передавал... как помирал, всё тебя вспоминал... Мне строго-настрога наказывал... Я вот собрал от художники нашей... курей... и хлеба... и ещё там всякого... Ну, так я пойду, стало быть...

— Иди, — сказал игумен Капитон, но когда юноша, пятась, добрался до двери и когда уже приоткрыл её, властно махнул посохом: — Погоди! А матушка твоя? Не Анной ли Несторовной зовут?

— Точно так!..

— Жива?

— Отнюдь... Моими родами преставилась... Я её и не помню вовсе. Тятенька... он всё вас вспоминал... послушником Агафоном называл... по старой-то памяти... Просил передать, что в селе Собачьем всё наладилось — ещё прежде, чем Смута на Москве кончилась. Зажили хорошо. В Москву ездили, там венчались, приданое мамашино забрали: у неё в хоромах ещё довольно было добра, и родичи там кое-какие остались — и у мамашы, и у тятеньки... Благословили их... Детей у них четверо родилось: сначала мальчик — Михаилом назвали, в честь царя нашего тогдашнего, потом две девочки, а потом уже и я... Михаил-то сейчас в Москве на государственной службе, дочка замужем, а именице-то мне досталось. Тятенька ведь потом и Чёрный Двор себе выхлопотал, и Сергиевское, и Лебязье, и ещё четыре деревни, так что живём потихоньку. А помирать-то он стал, так всё вас поминал... А он слышал уже, что игуменом-то... да... Игумен Капитон, стало быть... Был Агафон, стал в монашестве Капитон, — так он мне и сказал. Ты, Вася, говорит, снеси ему гостинчик да скажи: мол, белым эфиопам подарок из Константинограда. Несколько раз так повторил, а почему, зачем... Он вроде не заговаривался до последнего часу, нет!.. Ты, говорит, не забудь, Вася: из Константинограда для белых эфиопов гостинчик! Не знаете, почему он так говорил? Не знаете?... Так я пойду, отче?

— Иди с Богом! — ответил игумен, чуть заметно улыбаясь.